

НОВОЕ
В ЖИЗНИ, НАУКЕ,
ТЕХНИКЕ

ЗНАНИЕ

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРА

2/1978

А.П. Ланщиков

СЛАВЬСЯ,

ОТЕЧЕСТВО

НОВОЕ
В ЖИЗНИ, НАУКЕ,
ТЕХНИКЕ

Серия «Литература»
№ 2, 1978
Издается ежемесячно с 1967 г.

А. П. Ланщиков

СЛАВЬСЯ,
ОТЕЧЕСТВО

*(Родина в творчестве русских
советских поэтов)*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
Москва 1978

Ланщиков А. П.

Л22 Славься, Отечество (Родина в творчестве русских советских поэтов). М., «Знание», 1978.

64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Литература», 2. Издается ежемесячно с 1967 г.).

Известный критик рассказывает, как советские поэты В. Маяковский, А. Недогонов, А. Твардовский, К. Симонов, Н. Старшинов, Е. Исаев, А. Жигулин, Н. Рубцов и другие говорят о своей любви к социалистической Родине, ее людям, победившим в Великой Отечественной войне, строящим новое общество.

70202

8 P2

Patria — Отечество... Родина... Земля отцов...

В безначалии веков зарождалось у человека чувство любви к своей земле, к земле своих отцов. Это чувство росло и видоизменялось, развивалось и обогащалось различными оттенками, что-то постоянно теряя и что-то постоянно обретая. И пока у человека не было этого чувства или пока оно не обрело отчетливых признаков — человечество не знало истории, не знало своего прошлого и не задумывалось о своем будущем.

Проходили годы, века, тысячелетия, и все исчезало в мертвом забвении. И только чувство Родины дало человеку историческую память, а историческая память вдохнула в него историческое самосознание и исторический оптимизм.

Просто, удивительно просто объяснить слово «патриотизм», однако как трудно, а скорее всего и невозможно, полностью раскрыть, полностью расшифровать содержание самого того чувства, которое обозначается этим словом. Любовь к Родине, любовь к земле отцов... Есть, есть в этой любви, как и во всякой любви, какая-то всеохватывающая беспредельность, есть в ней что-то неуловимо-таинственное и в то же время что-то осязаемо-конкретное... Неведомая сила соблазняла человека в дальние и рискованные путешествия, звала его в походы, и он шел, повинаясь зову собственного сердца и чувству долга, потому как знал, что конечная цель всех путешествий и походов — возвращение на Родину. И в этом он видел высшую награду за все совершенные им подвиги, за все перенесенные им лишения и страдания.

Сложна и трагична история человечества, но именно чувство любви к Родине, перекрывая все остальные чувства, всегда давало тот исторический оптимизм, те нравственные и духовные силы, без которых человек

не выдержал бы тяжелых исторических потрясений, растерялся бы в суматохе прихотливых исторических хитросплетений.

«О Русская земля!» — воскликнет древний поэт-летописец. Пройдут века, и это его восклицание вдруг отзовется с такой силой в суровые годы Великой Отечественной войны, словно автор «Слова о Полку Игореве», пробившись сквозь толщу столетий, окажется нашим современником.

«О Русская земля!.. Что это? — воскликнет уже в наши дни советский поэт Александр Прокофьев. — Вздых древнего летописца при виде княжеской междоусобицы перед полымем вражеского нашествия? Или голос советского поэта в минуту новой беды, когда фашистские танки лавиной подминали под себя просторы Родины? Или это раздумья сегодняшнего молодого человека, предчувствующего, какую ответственность возлагает ему на плечи история и современность?..»

«А слава тех не умирает, кто за отечество умрет...»

Листаешь страницы далекой и близкой истории нашего Отечества, вспоминаешь великие творения отечественной литературы, вслушиваешься в речь родного народа... Землепроходцы и воины, ученые и революционеры, поэты и мыслители, бунтари и просветители — не им ли был завещан вольный и дерзкий характер наших далеких пращуров, что еще на заре нашей государственности запечатлели в поэтическом слове свое святое чувство — чувство любви к Родине!

Стонет, братья, Киев над горою,
Тяжела Чернигову напасть,
И печаль обильною рекою
По селеньям русским разлилась.
И нависли половцы над нами,
Дань берут по белке со двора,
И растет крамола меж князьями,
И не видно от князей добра.

(Перевод Н. Заболоцкого «Слова о полку Игореве»)

Автор «Слова» видит спасение Русской земли в единстве. Делая носителем этой идеи князя Святослава Всеволодовича, он недаром называет речь последнего «зла-

тым словом» («И тогда великий Святослав изронил свое золотое слово»).

«Певец, — совершенно справедливо говорил в свое время известный русский филолог и искусствовед Ф. Буслаев, — должен повествовать о том, что заранее известно, в чем нет неожиданностей, что проистекло по вечным законам, о чем можно в сотый раз слушать, отдаваясь мерному течению эпической речи, отражающей широкий мир явлений, всю глубину и высоту и просторы мира».

Автор «Слова» как бы разрушает эти каноны эпической поэзии и выражает в своей поэме собственное, индивидуальное поэтическое чувство, исполненное духом скорби и гнева по поводу поражения русских князей и раздора между ними. Личное патриотическое чувство автора дает толчок к переоценке им бытовавших до того поэтических представлений и новому направлению в развитии отечественной литературы, если же он и пользуется традиционными поэтическими образами и определениями, то только в той степени и в той мере, которые не противоречат его собственному живому патриотическому чувству, его личностному отношению к современной ему действительности. Говоря нынешним языком, автор «Слова о полку Игореве» — новатор, и его новаторство было обусловлено в первую очередь исторической потребностью в новом поэтическом слове.

Пройдут столетия. История нашей Родины пополнится многими славными и многими горькими страницами, и русская поэзия в свойственных каждому периоду художественных приемах отразит становление нашего государства. И вот настанет 1812 год. В горящей святым огнем Москве начнут рушиться имперостроительные планы Наполеона. Отечественная война 1812 года вызовет такой взлет патриотических чувств, так разовьют личные патриотические чувства, что на многие десятилетия вперед определит направление национального самосознания, направление духовной жизни народа.

Предыдущий, восемнадцатый, век был отмечен многими ратными победами. Победы Петра, Румянцева, Потемкина, Суворова, Ушакова давали много поводов для патриотического вдохновения. Еще в 1728 году В. Тредиаковский писал: «Чем ты, Россия, не изобиль-

на? Где ты, Россия, не была сильна?» Победы Родины, ее неисчислимыя богатства дали поэту повод воскликнуть:

Виват Россия! Виват драгая!
Виват надежда! Виват благая!

«Сумарокову, — писал Вяземский, — у коего нельзя отнять ни ума, ни дарования, предназначено было судьбою проложить у нас пути к разным родам сочинения, но самому не достигнуть ни одной цели». Да, действительно, разносторонний и плодовитый А. Сумароков не оставил после себя произведений, отмеченных печатью вечности, однако он немало способствовал развитию отечественной литературы и воспитанию вкуса к патриотическим стихам. Так, например, другой поэт — М. Херасков, будучи еще кадетом шляхетского корпуса, начал под руководством Сумарокова писать стихи и печатать их в «Ежемесячных сочинениях», издававшихся при Академии наук. Тогда же Херасков задумал и свою «Россиаду», которую, по собственному его признанию, писал восемь лет. А уже будучи зрелым человеком и зрелым литератором, он пишет «Оду Российскому воинству. В феврале 1769-го», исполненную высокого патриотического пафоса:

Летите, российские орлы,
Карать рушителей спокойства!
Во всех странах гремят хвалы
И слухи вашего геройства;
Весь свет бы Фридрих победил
И больше б Александра был,
Коль россов не было бы в свете:
Победоносной их рукой
Европе мир дан и покой;
И слава ныне в полном цвете.

Конечно, теперь не может не броситься в глаза, что произведения Тредиаковского Сумарокова, Хераскова и многих их современников заключают в себе слишком мало личного элемента, в них больше публицистики, нежели поэзии, больше пафоса, нежели философии. И только в лучших произведениях Ломоносова, Державина, Радищева, Карамзина мы видим дух подлинного поэтического вдохновения, которому суждено было развиться и стать доминирующим в поэтической практике лишь в девятнадцатом веке. Свою «Песнь лирическую Россу на взятие Измаила» (1790 г.) Г. Державин закончит такой строфой:

А слава тех не умирает,
Кто за отечество умрет;
Она так в вечности сияет,
Как в море ночью лунный свет.
Времен в глубоком отдаленьи
Потомство тех увидит тени,
Которых мужествен был дух.
С гробов их в души огонь польется,
Когда по рощам разнесется
Бессмертной лирой дел их звук.

В традициях восемнадцатого века было свойственно все ратные победы и славные мирные деяния приписывать царствующему монарху, и в поэзии высокого «штиля» почти всегда присутствовал элемент верноподданничества. Державин в своей «Песне» тоже обращается к монарху, но это обращение чревато уже теми вольнолюбивыми мотивами, которые станут столь характерными для поэзии девятнадцатого века. «Чего не может род сей славный, любя царей своих, свершить?» — поставит поэт риторический вопрос, чтобы дальше дать своего рода наказ самим царям:

Умейте лишь, главы венчанны,
Его бесценну кровь щадить, —
Умейте дать ему вы льготу,
К делам великим дух, охоту
И правотой сердца пленить.
Вы можете его рукою
Всегда, войной и не войною,
Весь мир себя заставить чтить.

В том же 1790 году А. Радищев напишет знаменитую оду «Вольность», а отправляясь в Илимскую ссылку, скажет: «Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? — Я тот же, что и был и буду весь мой век: не скот, не дерево, не раб, но человек! Дорогу проложить; где не бывало следу, для борзых смельчаков и в прозе и в стихах...» Как видим, к концу века живые патриотические чувства все чаще и чаще стали пронизываться гражданскими мотивами, и в стихах стали все ярче обозначаться личностные элементы. Но чтобы поэзия вступила на какой-то качественно иной путь, нужен был исторический толчок, и такой толчок дала Отечественная война 1812 года.

Сама война дала материал для написания многих патриотических произведений. Пятидесятичетырехлетний В. Капнист пишет одно из лучших своих произведений «Видение плачущего над Москвою россиянина,

1812 года, октября 28 дня», в котором есть полные оптимизма строки: «Пожаров след да истребится, и, аки феникс, возродится из пепла своего Москва!» В. Жуковский в том же году пишет свою знаменитую поэму «Певец во стане русских воинов», Ф. Глинка — «Военную песнь, написанную во время приближения неприятеля к Смоленской губернии», И. Крылов — басни «Волк на псарне» и «Ворона и курица» и т. д.

Однако дело не в том, что война двенадцатого года дала материал к написанию значительных произведений, а в том, что изменился сам взгляд на поэзию, на ее роль в общественной жизни народа, сам взгляд на народ. Высокий пафос уступил место живому и глубокому личному чувству, а коронованных особ вытеснит главный герой истории — народ. И Родина предстанет в стихах в своих конкретных образах, а любовь к Родине обретет личный философский смысл.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Так просто и в то же время так программно мог сказать только гений. Девятнадцатилетний юноша предопределил не только направление своего творческого пути, но и пути развития всей отечественной литературы. И имя ему — Пушкин.

Пушкин — явление в истории нашей культуры не то чтобы редкостное, оно уникальное, единственное, и не только в силу своей неповторимости, но и в силу своей необходимости. Пушкина подготавливала вся предшествующая история, и на определенном этапе ее развития он возник как закономерность, а не как прихоть судьбы. Великая личность играет в истории великую роль, но она всегда есть порождение исторического момента, обусловленного всей предшествующей историей народа. Живи Пушкин в эпоху Ивана Грозного или Петра Великого, он наверняка не исполнил бы свою миссию, не реализовал бы свой гений так, как он реализовал его в действительности. В другие эпохи в Пушкине еще или уже не было исторической потребности.

У великих народов всегда найдется великий исполнитель его великих предначертаний, будь все иначе, история не знала бы никаких закономерностей. И Пуш-

кин для нас стал тем, кем стал для англичан Шекспир, а для немцев — Гёте.

Сам по себе — вне процесса общего духовного развития — талант никогда не поддается полному обнаружению, и тут недостаточны только личные усилия самого его обладателя. И Пушкин не смог бы стать тем, кем он стал, не создайся в ту пору благоприятных для развития его таланта условий. Пушкину довелось жить в атмосфере высочайшего духовного подъема, вызванного Отечественной войной 1812 года, когда на карту была поставлена судьба самой Родины, когда каждому дано было понять, что есть для него Родина, для него лично. И теперь стихи о Родине носят, как правило, сугубо личностной характер, больше того, интимный характер.

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

(На них основано от века,
По воле бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его).

(Пуш к и н, из черновых отрывков)

Так не мог сказать ни один поэт допушкинской поры и не из-за недостатка таланта, а в силу иного самосознания. В эпоху Пушкина чувство любви к Родине полностью освободилось от верноподданических настроений. И в этом отношении весьма интересное свидетельство оставил нам Адам Мицкевич.

«Около 1820 года, — говорил в своих лекциях в Лозанне польский поэт, — вся русская литература перешла на сторону оппозиции, храня по отношению к правительству грозное молчание. В России того времени можно было наблюдать характерное явление: могущественный монарх, чтимый во всей Европе, которому достаточно было послать любому иностранному писателю перстень или табакерку, чтобы получить взамен поэму или книгу, прославляющие его, чтобы в наиболее авторитетных французских и немецких газетах появились статьи, защищающие его политику и восхваляющие его особу, — этот монарх не мог добиться ни единой строфы ни от кого из русских поэтов, ни единой статьи от хоть сколько-нибудь известного русского писателя».

Возможно, в этом свидетельстве есть некоторые преувеличения, но по сути своей оно верно. Отныне русская поэзия в своих лучших проявлениях связала свою любовь к Родине с любовью к своему народу, к его деяниям и отмежевалась от всяких верноподданических настроений. И недаром поэт-декабрист К. Рылеев в своей поэме «Наливайко» вложит в уста герою, можно сказать, пророческие слова:

«Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной, —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!»

«Погибну я за край родной...» «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!..» Служение Родине, жертвенность — это стало не только уделом поэтических откровений, но и смыслом, целью жизни. Отсюда возник глубокий интерес к прошлому своей Родины и ко всем подробностям ее жизни сегодняшней.

Для девятнадцатого века характерен расцвет пейзажной лирики, хотя сам термин «пейзажная лирика» мне представляется недостаточным. Дело тут не в пейзаже как таковом, а в вековечном признаке Родины.

Люблю отчизну я, но странно любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
Но я люблю — за что, не знаю сам...

И хотя Лермонтов нарисует дальше поэтические картины родной природы («Ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье...», «Чету белеющих берез...», «Избу, покрытую соломой...»), от поставленного вопроса он все равно не избавится.

В начале нашего разговора мы сказали, что есть в любви к Родине какая-то всеохватывающая беспредельность, и есть в ней что-то неувлимо-таинственное.

И об этом, пожалуй, точнее и ярче всего сказано у Гоголя в его поэме «Мертвые души». Строки эти писаны вдали от Родины, в Италии...

«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприятно в тебе... Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватается за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и выются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!...»

Истинная любовь многогранна, и если Гоголь пытался разгадать тайну своей любви к Родине, то Некрасов одновременно страдал и восхищался, когда погружался в думы о ней: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, Матушка Русь!» И верил в ее светлое будущее: «Рать подымается — неисчислимая! Сила в ней скажется несокрушимая!» А поэт-революционер М. Михайлов прямо призывает к борьбе: «Смело, друзья! Не теряйте бодрость в неравном бою, Родину-мать защищайте, честь и свободу свою! Пусть нас по тюрьмам сажают, пусть нас пытаются огнем, пусть в рудники посылают, пусть мы все казни пройдем! Если погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, — дело, друзья, отзовется на поколениях живых».

Начиная с Пушкина тема Родины стала главной те-

мой отечественной поэзии, по-разному она преломлялась в творчестве разных поэтов, по-разному выражалось чувство любви к Родине, больше того, даже в стихах, казалось бы, посторонних этому чувству, всегда это чувство присутствовало каким-нибудь краем.

Пушкин и Жуковский, Рылеев и Кюхельбекер, Баратынский и Лермонтов, Кольцов и Некрасов, Тютчев и Вяземский, Никитин, Языков, Майков, Фет, А. К. Толстой, Полонский... Трудно назвать более или менее крупного поэта девятнадцатого века, в творчестве которого тема Родины не присутствовала бы как основополагающая, потому что основой мировоззрения стал историзм, и любовь к Родине, любовь к своему народу стали категориями мировоззренческими.

В девятнадцатом веке было написано много стихов, поэм, баллад на исторические темы, но даже и в тех случаях, когда поэт не касался напрямую истории, чувство истории все равно присутствовало в его стихах. Девятнадцатый век, преодолевая прежнее мировоззрение, обращался не к частным «случаям» истории, а ко всему историческому прошлому своего народа и, обнаружив закономерности в прошлом, пытался определить исторические пути человечества в будущем. И в вечности прошлого ему виделась вечность исторической перспективы в будущем. Само сознание человека требовало теперь предельной исторической осведомленности, поскольку его личная судьба стала представляться ему частью общей судьбы народа. При всех исканиях и сомнениях поэзия девятнадцатого века в целом обрела ясную цель — счастье народное. И в этом было революционизирующее значение поэзии минувшего века.

«Буря! Скоро грянет буря!..»

Двадцатый век при всех своих частных отклонениях воспринял эти традиции поэзии девятнадцатого века и развивал их в иных уже исторических условиях. Поэзия начала нынешнего века жила предощущением бури, революции... «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет. Буревестник, черной молнии подобный», — писал в самом начале века молодой Максим Горький. А заключительные строки этого стихотворения современники произносили

как заклинание: «Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над реющим гневом морем, то кричит пророк победы: — Пусть сильнее грянет буря!..»

И буря грянула. Сначала в 1905 году, а затем в 1917. После революции пятого года поэт Ф. Шкулев напишет: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы к счастью ключи... Мы светлый путь куем народу, мы счастье родине куем...»

Именно чувство любви к Родине, любви к народу звало поэтов к поискам путей, новых путей. Как в жизни, так и в поэзии. И предреволюционный этап русской поэзии, пожалуй, самый ее сложный и самый противоречивый этап. И это закономерно. Поэзия как самый тонкий и самый чуткий орган народной души не могла не воспринять и не выразить смятения и противоречий этой души.

В предисловии к поэме «Возмездие» Александр Блок пишет: «Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, из которых впервые выросло сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные толчки извне, одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более слиянием всего воедино, что было легко и возможно в истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также — в истинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею. Именно мужественное веяние преобладало: трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего — противоречий непримиримых и требовавших примирения...» «Уже был ощущен запах гари, железа и крови...»

В период 1908—1910 годов Блок превращается из поэта нежного в поэта мужественного и мятежного. «Я думаю, — пишет он, — что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был *ямб*. Вероятно, потому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого *ямба*, отдаться его упругой волне на более продолжительное время».

Пришла гроза, буря 1917 года. Вера в великое будущее России, вера в творческие силы народа заслонила

от Блока все иные вопросы. В поэме «Скифы» (1918 г.) он говорит от имени народа:

Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы — мы! Да азиаты — мы, —

С раскосыми и жадными очами!..

Да, так любить, как любит наша кровь,

Никто из вас давно не любит!

Забыли вы, что в мире есть любовь,

Которая и жжет, и губит!..

В последний раз — опомнись, старый мир!

На братский пир труда и мира,

В последний раз — на светлый братский пир

Сзывает варварская лира!

В том же 1918 году Блок писал: «Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда — *о великом*».

И вот этот «гул о великом» в годы революции, в годы гражданской войны становится главным содержанием русской поэзии. «И все, и пророк и незоркий, глаза обратив на восток, — в Берлине, в Париже, в Нью-Йорке, — видят твой огненный скок. Там взыграв, там кляня свой жребий, встречает в смятенье земля на рассветном пылающем небе красный призрак Кремля», — писал в 1920 году Валерий Брюсов в стихотворении «К русской революции».

С восторгом встречает революцию молодой поэт Владимир Маяковский. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй», — бросает он от имени революции.

В годы гражданской войны Маяковский всего себя отдает делу революции и в этом видит свое служение Родине, все его творчество проникнуто гордостью за Родину, поднявшую знамя мировой революции. От имени революционного народа он в 1918 году провозглашает:

Глаз ли померкнет орлий?

В старое ль станем пялиться?

Крепи

у мира на горле

пролетариата пальцы!

Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

(«Левый марш»)

В годы гражданской войны особую популярность приобрело поэтическое творчество Демьяна Бедного. Стихи, частушки, песни, басни, сказки на актуальнейшие темы Демьяна Бедного стали живым поэтическим словом партии, обращенным к трудящимся массам. В 1923 году Демьян Бедный был награжден орденом Красного Знамени — высшей революционной наградой, — и Президиум ВЦИК писал в своем обращении к поэту: «Велика заслуга тех, кто вооружал бойцов Красной Армии оружием революционного сознания, кто воодушевлял их на трудные и славные подвиги. Особо выдающиеся и исключительные заслуги ваши, как поэта великой, революции оценены по достоинству рабочекрестьянскими массами республики и особенно участниками гражданской войны. Произведения ваши — простые и понятные каждому, а потому и необыкновенно сильные, зажигали революционным огнем сердца трудящихся и укрепляли бодрость духа в труднейшие минуты борьбы».

«...Я — гражданин Советского Союза!..»

Разумеется, литературный процесс в годы революции и гражданской войны развивался не просто и не однозначно. По-разному восприняли «гул о великом» даже те, кто жаждал революционной бури, — по-разному представлялась будущая революция и не у каждого это представление совместились с реальной действительностью. Но именно здесь, в горниле революционных битв, закладывался фундамент новой — советской поэзии, с ее главной чертой — любовью к Советской Родине.

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею...

признавался Сергей Есенин и оттого еще пронзительнее всматривался в дорогие ему черты родной страны и,

словно устав от непонятности жизни, заклинал: «Но и все же, ночью той тесным, я могу прочувственно пропеть: дайте мне на родине любимой, все любя, спокойно умереть!» В сложных нравственных и гражданских поисках происходило становление советской поэзии и в сложной литературной борьбе. В 1922 году поэт П. Орешин писал: «В черный день я недаром тоскую, стерегу хлебозвонную сыть. Надо выстрадать землю родную для того, чтоб ее полюбить!» И лучшими поэтами той поры родная земля была выстрадана, как выстрадано каждое поэтическое слово.

К десятилетию Октября Владимир Маяковский пишет свою знаменитую поэму «Хорошо!», в которой говорит об истории молодой Советской Родины: «Это время гудит телеграфной струной, это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем». И показывает истоки своей любви к родной земле: «Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь, колеся,— но землю, с которою вместе мерз, вовек разлюбить нельзя... Я землю эту люблю. Можно забыть, где и когда пузы растил и зобы, но землю, с которой вдвоем голодал,— нельзя никогда забыть!.. Но землю, которую завоевал и полуживую вынянчил, где с пулей встань, с винтовкой ложись, где каплей льешься с массами,— с такою землею пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на смерть...» Маяковский в этот период посвящает многие свои стихи молодой Советской Республике, а в двадцать девятом году пишет «Стихи о советском паспорте» — своего рода гимн советской гражданственности:

Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

В тридцатые годы, в годы первых пятилеток, строительства Днепрогэса, Магнитки, Московского метро, в годы освоения Арктики и беспримерных воздушных перелетов Чкалова, Громова, Гризодубовой, Расковой и Осипенко, в годы революционной войны в Испании пишется много стихов о Родине, о ее могуществе и непобедимости. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», — гордо пели в тревожные предвоенные годы советские люди. И твердо верили,

что так оно и будет, если враг поднимет руку на их Родину-мать. (Мне кажется, зря потом некоторые исследователи стали упрекать авторов предвоенных стихов в наивности и даже в беспечности, дескать, они пророчили легкую и бескровную победу. Патриотическая поэзия вовсе не призвана во всех подробностях предвосхищать последующие события, у нее другая задача — воспитать в соотечественниках духовную стойкость, мужество и безграничную любовь к своей Родине. И предвоенная поэзия такие качества воспитывала. Каждая отданная врагу пядь родной земли отзывалась личной болью в душе советского человека. И эта личная боль, эта личная ответственность обернулась для врага Брестом и Одессой, Севастополем и Ленинградом, Москвой и Сталинградом, тем массовым героизмом воинов и тружеников тыла, который сыграл в Великой Отечественной войне решающую роль.)

1939 год. В Европе вспыхнул пожар второй мировой войны.

«Если завтра война, если завтра в поход...» — пели советские люди, и каждый готовил себя внутренне к завтрашней войне, к завтрашнему походу... И в песне находили единение.

1940 год. В Европе бушует пожар второй мировой войны. Март. Окончился финляндско-советский военный конфликт.

А бывает так, что ты в пути
загрустишь.
И места не найти
в этом
набок сбитом захолустье.
На войне попробуй не грусти, —
обретешь ли мужества без грусти?
Это чувство в нас живет давно,
это им рассыпаны щедроты
подвигов.
И верю я — оно
штурмом брало крепости и доты.

Этот духовный опыт Алексею Недогонову дала финская кампания, хотя и скоротечная, но достаточно жесткая, чтобы предположить, будто бушующая в Европе война может окончиться легким исходом...

1941 год. Европа повержена. «На границе тучи ходят хмуро...»

Июнь. 21-е число. Суббота. На западе нашей стра-

ны наступает вечер, а на востоке уже начинается новый день...

22 июня: Война!..

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

Война в один день разделила жизнь каждого и жизнь всех на две эпохи: до войны и сейчас...

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Эти стихи-призыв, стихи-клич, положенные на музыку, звучали набатом, мобилизовывали духовные ресурсы, давая каждому опору в единении, призывали, говоря стародавним словом, к той соборности, что обеспечивала народу в самые тяжелые годы непреклонную волю к победе. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, — идет война народная, священная война!»

«Священная война» — так и названо стихотворение известного поэта-песенника В. Лебедева-Кумача, ставшее самой популярной патриотической песней в период Великой Отечественной войны. Ее пели торжественно и мужественно, как гимн. Пели — и как бы клялись сами себе на верность своему народу, своей Родине.

Встретившись с тяжелым бытом войны, советские люди не хотели уступать и не уступили своих нравственных и гражданских идеалов и пронесли через все испытания веру в высокое предназначение человека, в высокое предназначение своей Родины. Война еще более упрочила идеи гражданственности и патриотизма, наполнив их новым глубоким содержанием.

Разумеется, война не могла нивелировать людские характеры, но единство цели или хотя бы единство судьбы развивало эти характеры в определенном, пусть и в свойственном им направлении, и даже тогда, когда происходила ломка человеческого характера, то и здесь отчетливо запечатлевался дух своего времени, который опять-таки никто не мог преодолеть по своему усмотрению, потому как в основе его лежал нравственный закон времени, вырабатываемый коллективной волей народа в часы наибольших для него испытаний.

Когда художник исследует великий подвиг народа и исследует его во всей совокупности исторических фактов, он остается верным жизненной правде, и тогда никакой факт, ставший предметом творческого исследования и изображения, не может исказить общей картины эпохи, поскольку в данном случае не происходит нарушения одного из основных законов искусства — соразмерности. И дело тут не в некоем «балансе», когда любое описание трагической ситуации уравнивается непременно оптимистической концовкой, а в позиции художника, в том — во имя чего он обращается, допустим, к тяжелым для нас воспоминаниям или впечатлениям. Конечно, очень непросто протянуть связующую нить между боями лета и осени сорок первого года и штурмом рейхстага, если это не объемистый роман, в котором прослеживается весь ход войны, однако в стихах, что были написаны даже в первые месяцы войны, ощущается уверенность в победе, пусть и не очень близкой.

В цитируемом уже стихотворении В. Лебедева-Кумача есть такая строфа: «Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, отродью человечества сколотим крепкий гроб!» Безусловно, это и не удивительно, что в призывных, в набатных по своему характеру стихах есть такие откровенно уверенные строчки. Но если мы обратимся к стихам иного, лирического плана, то и здесь почувствуем ту же уверенность в неперенной нашей победе.

В первые месяцы войны трагический образ порушенной врагами деревни создал Михаил Исаковский в лирическом стихотворении «Перед боем»: «У выжженной врагами деревушки, где только трубы черные торчат, как смертный суд, стоят литые пушки, хотя они пока еще молчат». Однако это молчание, по мысли поэта, чревато именно тем гулом, который потом непременно перельется в победный:

Но час придет, но этот час настанет.
И враг падет в смятенье и тоске,
Когда они над грозным полем брани
Заговорят на русском языке.

В период Великой Отечественной войны патриотические чувства, чувства любви к Родине порой имели глубоко интимный характер, однако выраженные в точном и проникновенном поэтическом слове они приобре-

тали поистине всенародное звучание. И тут достаточно вспомнить хотя бы посвященное Алексею Суркову стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»

Стихи эти, собственно, и начинаются с прямого обращения к другу: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные, злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их к груди, как слезы они вытирали украдкой, как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как встарь повелось на великой Руси».

Эти стихи были написаны в первые же месяцы войны. Представьте себе: молодой, до мозга костей городской человек, с довольно широким диапазоном виденья и вдруг:

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил.
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Откуда это? Война! Война дала то прозрение, к которому можно было идти долгие годы, всю жизнь, но так к нему и не прийти. И биография этого прозрения уложена здесь же, в строках стихотворения: «Не знаю, как ты, а меня с деревенскою дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и песнею женскою впервые война на проселках свела». Вот тот маршрут по родной земле, который позволил поэту без тени фальши сказать о Родине высокие и пронзительно-искренние слова:

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Удивительные стихи! Их можно читать хоть тысячу раз, и все равно в них не исчезает звучание пронзительного драматизма, которое невозможно придумать, которое можно только исторгнуть из самых заповедных мест души. И если такие стихи «пришли», их невозможно не написать. И сколько здесь горькой правды: в самой интимной интонации, тактично передающей чувство собственной за все ответственности, порой оборачивающейся в чувство собственной вины: «Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом, по-мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в салопчике плисовом, весь в белом, как на смерть одетый, старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, куда идите, мы вас подождем». И эти слова запали в душу, навсегда растревожили совесть:

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.

«Мы вас подождем!» — говорили леса.

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,

Что следом за мной их идут голоса.

И существенно тут не то, что вот, дескать, городской человек наконец-то додумался, что родина — это не дом городской... Нет, и «дом городской» — это родина и никакая не вторичная, а самая настоящая, самая первичная. Тут важно то, что в душе человека, который «празднично жил», произошел сдвиг в сторону подлинной демократизации чувств и мыслей, сдвиг бескорыстный и необратимый, хотя, разумеется, не столь очевидный, как нам это может показаться теперь, спустя десятилетия. И это, разумеется, касается не только автора стихов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» В первые же месяцы войны Сергей Наровчатов написал трагический образ стертого с лица земли села:

По земле поземкой жаркий чад.

Стонет небо, стон проходит небом!

Облака, как лебеди, кричат

Над сожженным хлебом.

Хлеб дотла, и все село дотла.

Горе? Нет.... Какое ж это горе...

Полплетня осталось от села,

Полплетня на взгорье.

Облака кричат! Кричат весь день!..

И один под теми облаками

Я трясусь, трясусь, трясусь плетень

Черными руками.

(«Облака кричат»)

Это вполне естественно, что стихи начального периода войны были исполнены чувством истинного трагедизма и неподдельного личного горя, хотя в них всегда присутствовала вера в победу над врагом, и источником этой веры было всеохватное чувство любви к своей Родине. И первые сокрушительные удары по врагу под Москвой дали стихам уже другую тональность. Победа под Москвой стала прообразом будущей окончательной победы, и черты ее уже угадывались во многих стихах, написанных зимой сорок первого года.

Вот бомбами разметанная гать,
Подбитых танков черная стена.
От этой гати покатилась вспять
Немецкая железная волна.

Здесь втоптаны в сугробы, в целину
Стальные каски, плоские штыки.
Отсюда, в первый раз за всю войну,
Вперед, на запад, хлынули полки.

Мы в песнях для потомства сбережем
Названья тех сгоревших деревень,
Где за последним горьким рубежом
Кончалась ночь и начинался день.

(А. Сурков)

Прошло всего полгода, а перед поэтами и поэзией встала уже новая задача: запечатлеть подвиг народа, остановившего «немецкую железную волну». Теперь порой уже недостаточным было выразить свое личное чувство, пусть и близкое каждому. Гастелло, Талалихин, Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, Саша Чекалин, панфиловцы... Страна уже знала своих героев, и потребность в поэтическом слове о них вызвала к жизни многочисленные поэмы, баллады, сюжетные стихи. Появилась настоящая потребность в народном характере, ибо главным героем войны стал народ.

«Нынче мы в ответе за Россию, за народ и за все на свете...»

Сколько глубоких чувств ни выразил бы художник в своем произведении, какое количество достоверных фактов он ни привлек бы для иллюстрации своих мыслей, ничто здесь не может сравниться с емкостью и убедительностью художественного образа (характера), заключающего в себе беспредельное количество инфор-

мации. «...Дело искусства, — писал Лев Толстой, — отыскивать фокусы и выставлять их в очевидность. Фокусы эти, по старому разделению, характеры людей...» И настоящий крупный талант всегда выражает правду времени через правду народного характера, ибо в подлинно народном характере живет историческое время и вне его или без него все остальное принимает мертвенно-плоскостное очертание.

Мы теперь сколько угодно можем рассуждать о бешеных ритмах нынешнего времени, то ли льстя себе этим, то ли в чем-то себя этим оправдывая, но ритмы времени определяются вовсе не скоростью возможного передвижения в пространстве или какими другими внешними скоростями, а величиной духовного напряжения. Ритм времени живет не вне нас, а внутри нас, непосредственно воздействуя на интенсивность развития характера.

От века к веку, от десятилетия к десятилетию развивается народный характер, однако иногда создаются такие исторические условия, когда этот процесс получает как бы дополнительное ускорение, и тогда счет уже ведется не на века и даже не на десятилетия, а на значительно меньшие временные отрезки. Такие условия сложились и во время Великой Отечественной войны, когда каждый год по своему духовному напряжению стал соответствовать по меньшей мере десятилетию и обрел свои яркие отличительные признаки, которые в различной степени запечатлелись в характерах современников, ставших воинами великой армии освобождения.

Казалось бы, одно из замечательнейших произведений о Великой Отечественной войне — поэма о Теркине — создавалось Александром Твардовским оперативно, так сказать, по ходу действия, а образ (характер) героя подсказан жизнью военных лет. На самом же деле все обстояло несколько иначе.

Вася Теркин как литературный персонаж впервые появился на страницах газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» во время финляндско-советского конфликта и был плодом коллективного творчества группы писателей, сотрудничавших в этой газете. «И хотя вступление к этому циклу стихотворных фельетонов было написано Твардовским, — сообщает критик Андрей Турков, один из исследователей творче-

ства Твардовского, — в дальнейшем его работа несколько не носила определяющего характера». Да и сам Александр Трифонович не раз говорил в том же духе, а его записи «С Карельского перешейка» еще раз удостоверяют, что подмеченный им характер мог быть и был реализован только в период Великой Отечественной войны. И «Книга про бойца» представляет для нас как раз особый интерес с точки зрения поиска писателем доминирующего для своего творчества характера и реализации его на страницах литературного произведения.

Этот длительный и многотрудный поиск принес Твардовскому и самое большое творческое удовлетворение. Недаром потом относительно своей «Книги про бойца» он скажет: «Каково бы ни было ее собственно литературное значение, для меня она была истинным счастьем. Она мне дала ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения».

В обыденной жизни значительные характеры встречаются не столь уж и редко, хотя по недостатку случая они могут так и не реализоваться в очевидность. Художник, обнаружив в современной ему действительности интересный в своих тенденциях характер, помещает его в такие жизненно достоверные ситуации, когда тот, не нарушая собственной внутренней логики, полностью или во всяком случае достаточно отчетливо выявляет свои главные свойства. Однако в выборе самих этих ситуаций художник ограничен правдою своего времени, и поэтому, например, не случайно, что все попытки Твардовского создать характер Теркина на материале финской кампании так и не увенчались успехом, а причиной тому — недостаточность материала для тех ситуаций, в которых бы этот характер раскрыл свои самые существенные черты.

А. Твардовский пока только предчувствовал значительность обнаруженного им характера, рожденного как бы самой жизнью. Так, через месяц с небольшим по окончании боевых действий он запишет: «И в голову никому не придет из тех, что подписывали картинки про Васю Теркина, что к нему можно обратиться и всерьез. Моральное же мое право на Теркина в том, что я его

начинал, в том, что я правил чужие подписи к картинкам Брискина и Фомичева, и, главное, в том, что никто за это дело не возьмется, а если возьмется, то не сделает так, как это сделаю я, если все пойдет по-хорошему».

Нет, ни правка чужих подписей, ни даже само «начинание» еще не давали Твардовскому какого-то особого морального права на Теркина. Теркин пока принадлежал всем и никому в отдельности. И такое отстаивание своих прав может показаться даже мелочностью, если за всеми этими торопливыми словами («я его начинал», «правил чужие подписи») не видеть серьезного опасения за судьбу вдруг открытого художественного образа. С одной стороны — самоуверенность: «никто не сделает так, как это сделаю я», а с другой — моментальная суеверная оговорка: «если все пойдет по-хорошему».

Почему же Твардовский так ухватился за этот образ? Интуиция? Пожалуй. Между прочим, А. Блок в статье «О драме» писал: «Горе от ума», например, я думаю, — гениальнейшая русская драма; но как поразительно *случайна* она! ...Неласковый человек с лицом холодным и тонким, ядовитый насмешник и скептик — увидел «Горе от ума» во сне. Увидел сон — и написал гениальнейшую русскую драму!»*

А вот как «пришел» к Твардовскому Василий Теркин. Тут есть даже точная дата — 20/IV 1940. «Переписывая в тетрадь карандашные записи для порядка, я все время думал о том, что же я буду писать о походе всерьез. Мне уже представился в каких-то моментах путь героя моей поэмы. Переход границы, ранение, госпиталь, следование за частью, которая ушла далеко уже. Участие в решительных боях. Какое-то знакомство с девушкой — лекпомом или сестрой. Но ни имени, ни характера в конкретности еще не было. Вчера вечером или сегодня утром герой нашелся, и сейчас я вижу, что только он мне и нужен, именно он. Вася Теркин! Он подобен фольклорному образу. Он — дело проверенное. Необходимо только поднять его, поднять незаметно, по существу, а по форме почти то же, что он был на стра-

* А. Блок имел в виду версию, согласно которой замысел «Горя от ума» возник у Грибоедова во сне. (Воспоминания Ф. Булгарина; письмо Грибоедова к неизвестному от 20 ноября 1820 г.)

ницах «На страже Родины». Нет, и по форме, вероятно, будет не то».

Действительно, не странно ли, что Чацкий, Фамусов или Скалозуб явились автору во сне? Возможно, что и странно, только вот не странно, что явились они, хотя и во сне, именно Грибоедову, как не странно и то, что Василий Теркин «нашелся» именно Твардовскому, а не кому-либо другому. Счастье художественной интуиции не имеет ничего общего со счастьем лотерейной удачи, где действительно распоряжается слепой случай. Художественная интуиция всегда обусловлена всем предшествующим духовным опытом человека.

Твардовский, как и многие его коллеги по писательскому цеху, во время финляндско-советского конфликта стал фактически военным журналистом, однако здесь его внешнее положение не соответствовало внутреннему состоянию. И в этом отношении весьма любопытна такая его запись: «Нужно еще сказать, что меня до сих пор не покидает соображение о том, что мое место, в сущности, среди рядовых бойцов, что данное мое положение «писателя с двумя шпалами» — оно не выслужено... Я то и дело мысленно ставлю себя на место любого рядового красноармейца».

И это чрезвычайно существенно, что во время боевых действий писатель постоянно чувствует себя не «наблюдателем», «очевидцем» или «судией», а рядовым участником происходящих событий. А за несколько дней до окончания боев последует запись: «Живем, пишем, болтаем, ездим, замерзаем, пьем, едим и т. д. Но ею, войною, уже безвозвратно отрезана какая-то половина жизни, что-то навек закрылось. Сознание постарело... Никакой весны. Война, а не весна. Стыдно, невозможно заниматься мечтами, воспоминаниями, собой».

И по окончании войны Твардовский продолжает жить в состоянии «войны». «У меня есть чувство, — признавался он, — (я уже знаю, что оно не верное), скорее трудно сказать с чем. Я как бы обижен за фронт и его людей. Как это все могут жить, как жили, интересоваться, чем интересовались, когда они должны же знать, какая это была война, сколько тысяч людей (теперь-то хоть это известно) заглянули в ее жуткие глаза, пережили ни с чем не сравнимое и никогда об этом не расскажут. Это чувство — вроде какой-то ревности. Оно неверное. Жизнь больше войны, хотя когда

война, то кажется — на первый взгляд по крайней мере, — что ничего больше ее нет» (разрядка моя. — А. Л.).

Умом Твардовский понимал, что «жизнь больше войны», но чувство поэта отказывалось поставить войну в один ряд с другими событиями жизни. И даже величайшие исторические события Великой Отечественной войны не заслонят от Твардовского первой для него войны — она навсегда войдет в историю его души:

...Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу.
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незначимой,
Забытый маленький лежу.

А вот из тех же записок: «Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под каким-то кустом, на снегу. Где-то еще идут ему письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Есть уже другие герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и все. Нужно еще удивляться, как удерживается какое-нибудь имя в списках награжденных. Все, все подчинено главной задаче — успеху, продвижению вперед. А если остановиться, вдуматься, ужаснуться, то сил для дальнейшей борьбы не нашлось бы».

В каком же постоянном напряжении должна была жить душа поэта, если даже по прошествии нескольких лет это воспринималось так свежо, так остро, так лично: «Как будто мертвый, одинокий, как будто это я лежу». В том-то, наверное, и дело, что для истинного художника все, чего коснулась его душа, — современность. И дело тут совсем не в том, что художнику дано в отчетливых подробностях помнить минувшие события, а в том, что боль минувшего для него никогда не становится минувшей болью.

Безусловно, масштаб зимних боев в Финляндии не идет ни в какое сравнение с масштабом Великой Отечественной, как не идет в сравнение масштаб Крымской войны с масштабом войны 1812 года. Однако художник, истинный художник, способен и в «малой» войне

разглядеть черты войны «большой». Пример тому Лев Толстой или сам Твардовский.

Да, после зимних боев возможно было сказать, что «жизнь больше войны», но вот когда разразится Великая Отечественная, то, как для каждого человека в отдельности, так и для всего народа, война уже станет жизнью, а жизнь войной. И к восприятию такого масштаба войны Твардовский будет уже подготовлен громадной внутренней работой, которая, помимо всего прочего, и объясняет, почему Василий Теркин «нашелся» именно Твардовскому, а не кому-либо другому. А художественная интуиция — это не случайный жёст фортуны, а награда за гигантское внутреннее напряжение, которое поглощает все ресурсы души.

Герой Твардовского был обнаружен в самой жизни. Личный духовный опыт подсказывал необходимость создания произведения о минувшей войне, однако сама война не дала еще материала для тех ситуаций, в которых характер героя смог бы выявить свои главнейшие свойства, стать живой очевидностью, какой он стал впоследствии. Поэтому-то через год после окончания финской кампании Твардовский запишет: «Исключительной вещи мне на этом материале скорее всего не сделать. Но она нужна до зарезу, даже такая, какую смогу. Делать нужно и буду делать, переделывать, терпеть...»

У Твардовского в ту пору была пока только личная потребность сказать что-то очень существенное о войне, однако время еще не пришло, когда у народа появится потребность в этом его слове. Когда же такое время настанет — поэт скажет свое Слово, и оно будет именно и с к л ю ч и т е л ь н ы м. «Превращение Васи Теркина в героя «Книги про бойца», — справедливо заметит критик А. Турков, — отразило исторический опыт, вынесенный народом из схватки с фашизмом, его духовное возмужание, гордость своей, доказанной в тяжелых битвах силой и стойкостью».

Сам Твардовский в статье «Как был написан „Василий Теркин“» (ответ читателям) писал: «Перемещение героя из обстановки финской кампании в обстановку фронта Великой Отечественной войны сообщило ему иное, чем в первоначальном замысле, значение. И это не было механическим решением задачи. Мне уже приходилось говорить в печати о том, что собственно военные впечатления, батальный фон войны

1941—1945 годов для меня во многом были предварены работой на фронте в Финляндии. Но дело в том, что глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первого дня отличала ее от каких бы то ни было иных войн и тем более военных кампаний».

Публикация «Теркина» в военной периодической печати вызвала непрекращающийся поток читательских писем. Воины благодарили поэта за создание произведения, которое абсолютно достоверно раскрывало народный характер советского воина и выражало его думы о судьбе своей Родины. В главке «О войне» Теркин рассуждает о самом главном, и эти его рассуждения импонировали не только своим смыслом, но и своей простой, обыденной формой.

...Грянул год, пришел черед,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.

От Ивана до Фомы,
Мертвые ль, живые,
Все мы вместе — это мы,
Тот народ, Россия.

И поскольку это мы,
То скажу вам, братцы,
Нам из этой кутерьмы
Некуда податься.

Тут не скажешь: я — не я,
Ничего не знаю,
Не докажешь, что твоя
Нынче хата с краю...

Ну, да что о том судить, —
Ясно все до точки.
Надо, братцы, немца бить,
Не давать отсрочки.

«...О доходчивости стихов «Василия Теркина» достаточно красноречиво говорит то обстоятельство, что почти каждый боец повторяет наизусть отдельные строки и строфы поэмы.

В часы ночного затишья, когда, уставшие, мы укладываемся спать, часто можно услышать стихи о шинели, а во время бомбежки или сильного минометно-артиллерийского обстрела противника нередко словами Теркина в шутовском тоне бойцы ведут рассуждения о «сабантуях».

Каждый боец в образе Теркина видит самого себя или, по крайней мере, стремится стать таким, как он.

Исходя из всего сказанного мной, я хочу в заключение добавить: «Василий Теркин» есть настоящее произведение в народном духе. Оно воодушевляет воинов на героические подвиги, ведет вперед на разгром врага», — писал Твардовскому с фронта осенью сорок второго года младший политрук Шелудько.

«...Герой Вашей поэмы — близкий друг и дорогой товарищ каждого фронтовика, каждого воина Красной Армии, защитника любимой Родины, — Василий Теркин — показывает образцы мужества и отваги в борьбе с врагом, показывает умение применять свою смекалку и хитрость, присущую воину Красной Армии, в разгроме ненавистного врага». А это из письма Твардовскому офицеров Федорова, Моисеенко и Захарова.

«...Читая Ваше произведение, невольно переносишься вместе с Теркиным в ту обстановку, где живет и воюет он.

По литературной незрелости нам трудно описать впечатление, оставленное поэмой, но мы хотим сказать, что вы своей цели добились вполне. «Василий Теркин» зовет вперед, воодушевляет нас на преодоление трудностей, на новые подвиги во имя Родины». И подписи: старшина Курбатов, техн. лейтенант Головаш.

И таких писем с фронта было множество. Прошли годы, десятилетия, и стало очевидным, что Василий Теркин занял прочное место среди наиболее значительных образов отечественной литературы, а сама «Книга про бойца» вошла в золотой фонд русской классики.

Вероятно, истинный поэт отличается от стихотворца не тем, что он предельно точно выражает свои ощущения, а тем, что он способен выразить и предощущения. Истинный поэт предощущает исторические бури и судьбу своего народа. Недаром же в нашей поэзии в былые времена столько говорилось о поэте-пророке. Нет, я вовсе не собираюсь производить Твардовского в сан пророка, но как большой истинный поэт он ощутил ту тревогу, которая в те годы, когда в Европе уже полыхал пожар, жила в каждом, хотя за будничной суматохой, за повседневными делами как бы отодвигалась в неопределенное будущее.

Между прочим, и у стихов М. Исаковского «Катюша», положенных на музыку, тоже оказались две жиз-

ни: первая — довоенная, когда эти стихи воспринимались как лирические стихи о любви. И хотя в стихах говорилось и о любимом, что «на дальнем пограничье», главное в них было — чувство Катюши. Грянула война, и «Катюша» обрела свою новую жизнь, теперь слова этой песни звучали как слова о верности:

Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

«Мы сами рассказать должны по праву о нашем поколении солдат...»

Конечно, было бы по меньшей мере нецелесообразным выставлять творческий путь того или другого писателя в качестве единственно возможного или единственно правильного, потому как он, этот путь, всегда глубоко индивидуален и ни при каких обстоятельствах не может быть повторен. Любой истинный художник работает в пределах собственного духовного опыта, который складывается не только за счет личного жизненного опыта, но и за счет постоянной напряженной духовной работы, всегда глубоко индивидуализированной.

Если, скажем, А. Твардовский и К. Симонов, С. Наровчатов и М. Луконин, А. Недогонов и П. Шубин, М. Дудин, С. Орлов, С. Гудзенко и многие их сверстники к началу войны уже обладали хоть каким-то писательским стажем и самостоятельным жизненным опытом, то многие будущие «летописцы» войны в лучшем случае только подозревали о своем писательском призвании. И каждому из них еще предстоял свой самостоятельный путь в литературу, свой путь к читателю.

К примеру, Николай Старшинов или Константин Ваншенкин, Евгений Винокуров или Юлия Друнина, Егор Исаев или Булат Окуджава, встретившие войну на пороге своей юности, естественно, должны были идти иными писательскими путями, нежели Твардовский или Симонов.

У поэта Дмитрия Ковалева есть такие строчки:

Сладко в юности спится,
Да поспать было некогда
В юности. —
Очень лунно бывает,
Но мы не заметили
Лунности...

Дмитрий Ковалев родился в 1915 году и во время Великой Отечественной войны служил во флоте. Действительно, многие его сверстники и недоспали, и недолго жили, а многие и не дожили. Но что же говорить тогда о тех, кто прямо со школьной скамьи в возрасте семнадцати — восемнадцати лет ушел на фронт!

Разумеется, деление на поколения, как, впрочем, и всякая другая периодизация в литературе, — вещь не безусловная, однако если в основу ее положен безусловно важный признак, то эффективность такой периодизации будет очевидной при любых отклонениях ее частностей. Думается, влияние Великой Отечественной войны на судьбу той или другой генерации как раз и есть тот признак, который позволяет нам иметь вполне обоснованную периодизацию поколений и всего литературного процесса последних десятилетий. Так или иначе, но при общей военной судьбе все-таки существовала заметная разница между теми, кто встретил войну пусть и молодыми, но имеющими уже самостоятельный жизненный опыт людьми, и теми, кого война приняла в свое кровавое лоно прямо со школьной скамьи и из родительского дома, чьи возвышенные юношеские представления о жизни не в полной мере соответствовали даже обыденной мирной действительности.

Вот мы, голые, встали пред военкомом.
Вот нам пальцами доктор о грудь постучал,
И за окнами криком густым, незнакомым
Паровоз объявил о начале начал...

Бьется кружка с противогазной коробкой.
Эй, приятель, да ты побледнел неспроста!..
Он недвижим. И медленно божьей коровкой
Капля вытекла вдруг изо рта...

И пошло. Словно тесто, что выпеклось комом,
Лагерь и бараки. Поспать бы, поесть.
С той минуты, когда мы пред военкомом
Молча голые встали — такие, как есть.

(Е. Винокуров. «Начало начал»)

Встретившись с тяжелым бытом войны, вчерашние школьники, недавно еще расставшиеся с пионерскими кострами, недавно еще получившие комсомольские билеты, выразили теперь свою любовь к Родине в ратном деянии, в подвиге.

Нет, на войне не просто сохранить моральную чистоту, когда мерой всему становится человеческая жизнь: за трусость человек расплачивается своей или

чужой жизнью, а чаще всего и своей и чужой. Любый неосторожный, непродуманный шаг чреват гибелью товарищей.

Всего один год — с августа сорок второго и до августа сорок третьего — провоевал будущий поэт Николай Старшинов: при прорыве обороны противника под Спас-Деменском его тяжело ранило, и после продолжительного лечения в госпитале он был демобилизован и признан инвалидом войны. Потом он скажет: «Настоящей школой для меня стала армия. За что я и благодарен ей». А через год после победы двадцатиоднолетний студент Литературного института напишет строчки, во многом объясняющие все его последующее творчество:

Солдаты мы.
И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат.
О том, что было — откровенно, честно...

Вскоре Н. Старшинов напишет стихотворение, очень незамысловатое по форме, но предельно емкое по своему внутреннему содержанию, в котором раскроет не только собственную духовную судьбу, но и духовную судьбу всего своего поколения. Тысячи его сверстников могли бы вслед за ним повторить: «И вот в свои семнадцать лет я стал в солдатский строй... У всех шинелей серый цвет, у всех — один покрой». Такие простые, обыденные, даже, казалось бы, «заземленные» слова сказал тот, кто еще несколько лет назад бредил боями в революционной Испании. «У меня еще другая трудность: я забыл, где начиналась юность. Может, там, где мальчик ночью бредит тем, что он в Испании поедет» («Гвардии рядовой»). Но то была романтическая мечта, а тут суровая, грозная действительность, не оставлявшая места ни для каких мечтаний. «У всех товарищей-солдат и в роте и в полку — противогаз, да автомат, да фляга на боку». И дальше поэт искренне признается: «Я думал, что не устою, что не перенесу, что затеряюсь я в строю, как дерево в лесу».

Кажется, армия сравняла, сnivelировала всех: «Льют бесконечные дожди, и вся земля — в грязи, а ты, солдат, вставай, иди, на животе ползи. Иди в жару, иди в пургу. Ну что, — не по плечу?.. Здесь нету слова

«не могу», а пуше — «не хочу». Но вот уже в следующей строфе звучит личный вызов всем трудностям, которые если и не преодолены, то преодолеваются совместно с теми, с кем свела тебя военная судьба. «Мети, метель, мороз, морозь, дуй, ветер, как назло, — солдатам холодно поврозь, а сообща — тепло».

Может показаться, будто эта строфа не вытекает из внутренней логики предшествующих строф, а если и вытекает, то слишком поспешно, перескакивая через какие-то важные, но пропущенные вехи духовной эволюции лирического героя, но так может показаться только при беглом прочтении этих стихов. Уже во второй строфе (мы ее цитировали), как только поэт упоминает о своих «соседях» по солдатскому строю, он их назовет не просто «солдатами», а «товарищами-солдатами» («У всех товарищей-солдат...»). Вот из этих-то «товарищей-солдат» органично и вытекает: «Солдатам холодно поврозь, а сообща — тепло». И поэтому заключительная строфа стихотворения достоверна своей обретенной бодростью:

И я иду, и я пою,
И пулемет несущу,
И чувствую себя в строю,
Как дерево в лесу.

Для того чтобы строка «Что затеряюсь я в строю, как дерево в лесу» превратилась в строку «И чувствую себя в строю, как дерево в лесу», поэту потребовалось всего лишь несколько строф, но таких емких и лаконичных, когда каждое слово в них обязательно здесь в силу своего особого внутреннего содержания.

Не станем вновь возбуждать спора на тему: откуда лучше видна была правда войны — из солдатского окопа или с вышки командующего. Минувшая война потому-то и называлась Отечественной, что виденье исторической правды тут не мог обеспечить никакой «уровень». Ни вышка командующего, ни солдатский окоп сами по себе еще не обеспечивали этого виденья, ибо война прошла через судьбы народов, а не только через фортификационные сооружения наземного или подземного профилей. Поэтому правду того трудного времени нужно искать прежде всего в народном характере, устойчивости которого вовсе не исключает ни его развита, ни его совершенствования:

Ты бежишь, припомнив все сначала.
Мокрый бинт сползает с головы...
Это очень гордо прозвучало:
Я — защитник города Москвы!

Эти слова в сорок первом году могли быть с равным успехом сказаны и солдатом и генералом, потому что каждый себя чувствовал защитником столицы своей Родины — Москвы, и тут генеральную стратегию диктовало в первую очередь патриотическое чувство, емкость и глубина которого находились в зависимости от моральных ресурсов человека, а не от его положения в военно-служебном ряду. Еще во время войны Николай Старшинов сумел точно выразить главное содержание патриотического чувства своего современника: «Когда, нарушив забытье, орудия заголосили, никто не крикнул: «За Россию!..» А шли и гибли за нее». Гордость за свое поколение и свою собственную гордость поэт выразит в предельно скромных словах: «А нам судьбу России доверяли, и кажется, что мы не подвели». В этих словах, наверное, и заключена главная правда об Отечественной войне, и историческое достоинство этой правды обеспечено многомиллионными жертвами нашего народа, поднявшегося в грозный исторический час на священную войну.

У Старшинова, впрочем, как и у других поэтов его поколения, нет «набатных» стихов. В поэзии, как и в армии, он чувствует себя рядовым, исполняющим свой гражданский долг, свою давнюю клятву: «Мы сами рассказать должны по праву о нашем поколении солдат». И даже тогда, когда поэт говорит вроде бы о себе, он все равно говорит о своем поколении.

Стихотворение Старшинова «Я был когда-то ротным запевалой» — автобиографично, что подчеркивается упоминанием в нем собственной фамилии: «И вдруг наш старшина на всю округу как гаркнет: «— Эй, Старшинов, запевай!» И хотя в центре «повествования» окажется сам автор, по воле самого же автора центральное место в жизни, даже в этом отдельном эпизоде он отведет не себе, а своим товарищам: «А у меня ни голоса, ни слуха и нет и не бывало никогда. Но я упрямо собираюсь с духом, пою... А голос слаб мой, вот беда!» Не бывает такого в армии, чтобы воинское подразделение доверило заводить песню тому, кто лишен одновременно двух необходимых для того качеств — голоса

и слуха. Деликатность — вот одно из главных свойств старшиновской поэзии, и это придает его поэзии особое обаяние. В этом стихотворении есть еще такие строки: «О, как могуч и как красив мой голос, помноженный на сотню голосов! И пусть еще не скоро до привала, но легче нам шагается в строю... Я был когда-то ротным запевалой, да и теперь я изредка пою».

Однако когда перечитываешь старшиновские стихи, то вдруг обнаруживаешь, что и без «помножения» на другие голоса, голос поэта звучит убедительно и самостоятельно, ибо в стихах его заложено глубокое жизненное содержание.

Николай Старшинов родился в Москве в 1924 году. Его дошкольное детство прошло в деревне, а учиться он пошел в одну из московских школ и жил теми же интересами, что и миллионы других школьников. «Когда в 1936 году в Испании началась гражданская война, — пишет он о себе, — я учился в средней школе. Мы носили пилотки-испанки с роскошными кисточками и на большой карте Испании, которая была повешена в нашем классе, ежедневно отмечали линию фронта. И когда республиканцы одержали победу над фашистами под Теруэлем, я написал первые свои стихи...»

А когда поэт перешагнет свой сорокалетний рубеж, то он напишет совсем другие стихи: «...А правда, мне в деревне бы родиться, пускай в дожди, пусть где-то на лугу... Конечно, я и так могу гордиться, что, мол, косить, что, мол, пахать могу. Могу сказать: я из деревни вышел, я до сих пор там первый рыболов... И все-таки, видать, я недослышал каких-то самых деревенских слов».

Последняя строка здесь самая важная. И дело не в том, дослышал или недослышал поэт «каких-то самых деревенских слов», а в том, что он незнание или неполное понимание иной жизни, иных обычаев — неважно: городских или деревенских — не возводит в собственное достоинство. Конечно, и деревня не должна оставаться такой, какой она была сто или двадцать лет назад, и природа подлежит преобразованию, но прежде, чем вторгаться в иную жизнь, прежде, чем что-то преобразовывать, мы должны проникнуться чувством, сходным тому, каким проникся бывший воин Николай Старшинов:

Но говорю:

— Вода, трава, деревья,

Я все же вас умею понимать.

Я не родной — приемный сын деревни,

Но я люблю ее, как любят мать.

И главное не в том, что поэт несколько лет прожил в пору своего детства в деревне. Внешние условия жизни создают лишь иллюзию того мира и той причинности, которые будто бы способствуют рождению поэта. Между тем истинное слово поэта рождается как раз в преодолении внешних подробностей жизни, и они только суть случайности его биографии, а вовсе не причина его поэтического восприятия действительности. Истинный поэт — следствие чего-то большего, нежели внешних событий его личной жизни, поэтому биографические сведения могут удовлетворить скорее наше постороннее любопытство, чем укажут нам на причины, вызвавшие к жизни появление той или другой поэтической личности. Кто из нас не «живал» в разную пору своей жизни в деревне, кто из нас не любовался в одном случае березкой, а в другом — ромашкой, но ведь не всяк же сохранил по всему этому память, не каждый откликнулся на все это верной любовью.

Конечно, березку или ромашку Старшинов заметил еще в своем дошкольном детстве, но вот по-настоящему он ее увидел в другую пору. «Зловещим заревом обаятый, грохочет дымный небосвод. Мои товарищи-солдаты идут вперед за взводом взвод. Идут подтянуты и строги, идут, скупые на слова. А по обочинам дороги шумит листва, шуршит трава». И вдруг:

И от ромашек-тонконожек

Мы оторвать не в силах глаз.

Для нас.

Для нас они, быть может,

Цветут сейчас

В последний раз.

«В последний раз...» А им ведь, тем, кто шел в строю, еще не было и двадцати!

Поэт Борис Слуцкий во вступительном слове к одному из поэтических сборников Константина Ваншенкина писал: «Из отрочества они прямо шагнули в зрелость, минуя молодость. Война быстро выросли людей.

Сколько их было? Полтора-два миллиона. Сколько их осталось? Совсем мало. Двадцать пятый год рожде-

ния — это солдаты, сержанты, изредка младшие офицеры. Этот возраст прикрывал Отечество в самом прямом смысле слова грудью, как Матросов.

У Отечественной войны было много поэтов. Одних называли солдатскими, других — офицерскими».

Ваншенкин был во время войны сержантом, сержантом был и Старшинов, а вот Винокуров был лейтенантом... Стихи поэта-фронтовика Владимира Карпеко можно отнести к каждому из них по отдельности и ко всем им вместе, равно как и к тысячам других их сверстников:

Ракеты, домерцав, сгущали тьму,
И залпы запоздалые стихали.
Спал лейтенант. И снился сон ему,
Что люди стали говорить стихами.

В другом стихотворении, посвященном Михаилу Луконину, В. Карпеко скажет:

А мы в огнях и водах побывали
Таких, что даже выжили едва...
Из нас четыре года выбивали
Красивые и нежные слова.

Потребность в красивых и нежных словах была лишь следствием потребности в красивых и нежных чувствах, которую не смогли ни убить, ни заслонить все в совокупности взятые ужасы войны. И поддержку своим этим чувствам чаще всего искали в вековой красоте родной природы.

Был мир пред нами обнажен,
Как жуткий быт семьи в бараке
Иль как холодный, из ножен,
Нож, оголяемый для драки.
Еда и женщина!.. Сняты
Покровы с жизни. В резком свете
Мир прост! Ужасней простоты
Нет ничего на этом свете.
Мы шли. Дорога далека!
Держались мы тогда непрочной,
Мгновенной сложности цветка
И синей звездочки полночной.

«Мгновенная сложность цветка...» «Ромашка-тонконожка...» И потом, когда война отойдет в прошлое, в стихах Николая Старшинова будут встречаться ромашки, правда, уже в другом восприятии, в другом «жизненном контексте», но те, ромашки военных лет, не забудутся. Поэт сохранит верность и этой своей любви.

Конечно, каждый по-своему и воспринимает и любит родную природу, тут не может и не должно быть «образца» или какого-то эталона. У Старшинова, например, мы редко встретим собственно пейзаж, природа в его стихах живет жизнью, органично связанной со всем остальным миром. В поэме «Милая мельница» Старшинов описывает свой родной деревенский край, но он не столько любит природу, сколько радуется ей. «Вот излука... Еще излука... Как к заветному рубежу, с легкой удочкой из бамбука к старой мельнице подхожу. Расшумелись на ветлах галки. Речка плещет через настил... — Здравствуй, мельница! Я — с рыбалки. Вот опять тебя навестил». И тут невольно вспоминаются строки из другого стихотворения: «Россия-мать, святой и зримый да будет жребий твой велик! Но сохрани неповторимый свой материнский светлый лик». Эти строки пришли, естественно, не от умозрительных рассуждений о «старом» и «новом», «отсталом» и «передовом». Можно преобразать и лик любимой России-матери, только вот сперва ее нужно полюбить больше всего на свете, тогда и преобразование лика не превратится в его уродование.

Оставаясь верным своей любви к родной природе, поэт пробуждает в нас добрые и сложные чувства. В незащищенности природы он видит прежде всего незащищенность человеческих чувств, незащищенность самого человека, поэт учит видеть и, стало быть, по-настоящему любить природу, ощущать свою личную причастность к ее бытию. Причастность же Старшинова к истокам народного мировосприятия и определяет народный характер его лирического героя. Вот почему и природа для него — понятие далеко не абстрактное и не постороннее, она в его понимании накрепко вяжется с судьбой человека, человечества, его собственной судьбой, с судьбой Родины. И это вовсе не отречение от нашей сегодняшней жизни и не уход от современности. И по этому поводу очень точные слова сказал другой поэт — Станислав Куняев: «Я вырос и выжил вот здесь. И всей возникающей нови я странен. Но это не спесь, а горькая верность в любви».

И тут мне невольно вспомнились рассуждения одного критика о «сказочном Лукоморье», которое якобы мешало поэту Леониду Мартынову, и о «бурлящем котле современности»... Да освободи ты поэта от «сказоч-

ного Лукоморья», лиши его взаимосвязи с прошлым и будущим (то есть лиши его воспоминания и предчувствия), и современность в его стихах утратит всякую историческую перспективу, а сам поэт станет бесплотным и бесплодным, и в «бурлящий котел» ринется уже не живой человек, а скелет. Конечно, грохот может получиться отменный, но то будут звуки хаоса, а не гармонии.

«Поэт — сын гармонии», — говорил Блок. Разумеется, Блока можно и оспорить. Но вот против законов поэзии мы бессильны. И не потому ли столь бессильна та литература, которой неведомы эти законы?

Истинный поэт всегда возводит идеал народа в нравственный закон эпохи и борется за него, освещая на многие годы вперед пути духовного прогресса. Лирический герой многих поэтов-фронтовиков отражает в своем сознании глубинные тенденции нашего времени, раскрывает сложный мир нашего современника, не отгородившегося от исторического опыта своего народа и воплотившего лучшие черты народного характера, что свидетельствует о поэтической и гражданской зрелости тех поколений, что прошли через суровые испытания Великой Отечественной войны.

Мы нередко говорим о преемственности в литературе, однако весь этот разговор зачастую сводим все же к частностям. Конечно, и в ритмах, и в размерах, и во всей архитектонике русского стихосложения есть своя, присущая только русскому стиху особенность. Но не в этом же только суть дела. В поэзии, как и в литературе в целом, важнее всего все же сохранить духовную преемственность, а не только соблюсти верность формальным признакам, которыми отмечены классические образцы.

«Ты получишь, сестра, награду — человека опять спасешь»

Во время войны как-то по-особенному прозвучали стихи о женщине, о женщине-матери, о женщине-подруге. И в этих стихах любовь к женщине была неразторжима с чувством любви к Родине, то есть любовь к Родине, которую ты защищаешь с оружием в руках, открывала какой-то новый, глубокий смысл, доселе то-

бой не замечаемый. И тут мы вправе говорить о глубинных традициях русской поэзии, уходящих своими корнями к «Слову о полку Игореве», к устному народному творчеству. И не случайно, что все чаще в современных стихах поэты стали обращаться к образу Ярославны. И тут есть своя закономерность: в период войны обострилось святое отношение к истокам человеческой жизни, которая является мерой всему на земле.

В 1942 году Александр Твардовский написал такие стихи:

Война, война. Любой из нас,
Еще живых людей,
Покуда жив, запомнил час,
Когда узнал о ней.

И как бы ни была она
В тот первый час мала,
Пускай не ты — твоя жена
Все сразу поняла.

Ей по наследству мать ее
Успела передать
Войны великое чутье,
А той — другая мать...

Вот это чувство женщины, всегда отдающей войне самое дорогое: детей, отцов, братьев, мужей, женихов, делает ее как бы мудрее мужчин, отдающих войне только жизнь. А в самом конце войны Михаил Исаковский скажет о женской доле: «...Да разве об этом расскажешь — в какие ты годы жила! Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла!.. В то утро простился с тобою твой муж, или брат, или сын, и ты со своею судьбою осталась один на один». Поэт скажет и о том мужестве, которое не оставляло женщину все четыре года войны, о той заботе, которой она и на расстоянии пыталась согреть любимого ею человека: «Рубила, возила, копала, — да разве же все перечтешь? А в письмах на фронт уверяла, что будто б отлично живешь». И теперь, когда приходит конец этим великим испытаниям, можно и признаться:

Бойцы твои письма читали,
И там, на переднем краю,
Они хорошо понимали
Святую неправду твою.

И воин, идущий на битву
И встретить готовый ее,
Как клятву шептал, как молитву,
Далекое имя твоё...

Владимир Маяковский в статье «Штатская шрапнель» писал: «Тот не художник, кто на блестящем яблоке, поставленном для натюр-морта, не увидит повешенных в Калише. Можно не писать о войне, но надо писать войною!» И многие поэты, чья юность оборвалась войною, о чем бы они потом ни писали, они все равно пишут «войною». Так, например, тот же Николай Старшинов не пишет стихов просто про любовь, он пишет историю своего чувства, уходящую в далекое детство:

Даже в детстве,
В далеком детстве
Я мечтал о такой, как ты...
Я хотел, чтобы шли мы вместе
По дорогам одной мечты.

А дальше раскрывается содержание этой мечты: «Чтобы, прямо выйдя из школы, я с тобой — а не с кем-нибудь — в Заполярье на ледоколе мог отправиться в дальний путь. Чтоб арктическая пустыня нас связала одной судьбой, я мечтал дрейфовать на льдине и, конечно, вдвоем с тобой». Лирический герой мечтает о том, чтобы вместе защищать Мадрид, вместе сражаться под солнцем Гвадалахары. И в этих мечтах отражается духовная биография целого поколения, нравственные идеалы которого так тесно смыкались с болью своего времени. Даже в интимных чувствах отчетливо звучат гражданские мотивы. И главное здесь то, что герой во все не претендует на какую-то монополию, он верит, что та, которую он полюбит, будет жить с ним в «одной мечте». И она не сказочная царевна, а простая девочка, каких много, но которая, конечно, одна... «Где я только с тобою не был! ...В бесконечно счастливый час ты под милым российским небом в нашем городе родилась».

Возьмем ли мы стихи или прозу авторов старшиновского поколения, везде обнаружим почти полное совмещение как нравственных авторских критериев, так и нравственных движений души героев. Пройдя через все ужасы войны, поколение сохранило верность не только своим гражданским принципам, но и своим высоким нравственным идеалам. Человек вернулся с войны с неистраченной душой и готов был повторить вслед за старшиновским лирическим героем: «Я хотел, чтобы шли мы вместе по дорогам одной мечты».

Чистота и верность — вот основополагающие черты поэзии тех, кто шагнул в войну прямо из юности. («Я родом не из детства — из войны...» — Ю. Друнина). На разные темы писали стихи поэты этого поколения и не одинаково достоинство их стихов. В стихах этих звучат разные интонации и присутствуют неодинаковые ритмы, вплоть до ритма солдатского строя, однако в любом стихе мы найдем две обязательные черты — чистоту и верность.

Мы все ведем речь о том, как в стихах военной поры нашел свое отражение образ женщины: женщины-матери, женщины-любимой... Но наш разговор оказался бы неоправданно незавершенным (хотя незавершенным он окажется в любом случае), если бы мы ничего не сказали о женщине-воине. «Смотрю назад, в продыmlенные дали: нет, не заслугой в тот зловещий год, а высшей честью школьницы считали возможность умереть за свой народ». И еще: «Если мы уцелели — не наша вина: у тебя не просили пощады, Война!» Пусть в этих строчках, принадлежащих перу фронтовички Юлии Друниной, и присутствует некоторая декларативность, однако эта декларативность исполнена глубокого содержания. В грозные годы войны многие тысячи девушек добровольно ушли на фронт, чтобы в одном строю с воинами-мужчинами встретиться на поле брани с полчищами врага. И звало их туда чувство любви к своему народу, к своей Родине. Медсестры, санитарки, связистки, разведчицы, летчицы... Четыре года наравне с мужчинами женщина терпела все ужасы войны. «Я только раз видала рукопашный. Раз — наяву. И тысячу — во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне», — говорит лирическая героиня Юлии Друниной. И этот страх нужно преодолеть, преодолеть столько раз, сколько это нужно. «Четверть роты уже скосило... Распростертая на снегу, плачет девочка от бессилья, задыхается: «Не могу!» Тяжеленный попался малый, сил тащить его больше нет... (Санитарочке той усталой восемнадцать сравнялось лет.)».

О, как она доказывала военному, что ей без фронта нельзя, что и фронту без нее нельзя... И как она была счастлива тогда... А теперь...

Отлежишься. Обдует ветром.
Станет легче дышать чуть-чуть.

Сантиметр за сантиметром
Ты продолжишь свой крестный путь...

Если вас не найдут снаряды,
Не добьет диверсанта нож,
Ты получишь, сестра, награду —
Человека опять спасешь.

Сто раз преодолеть себя, чтобы спасти человека, воина, чтобы спасти Родину. В стихотворении «Зинка», посвященном однополчанке Герою Советского Союза Зинаиде Самсоновой, Юлия Друнина скажет: «Мы не ждали посмертной славы. Мы хотели со славой жить... Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью укрывала я, зубы сжав, белорусские ветры пели о рязанских глухих садах».

...Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет:
Где-то в яблочном захолюстье
Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

И старушка в цветастом платье,
У иконы свечу зажгла.

...Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?

Окончится война. Пройдут годы. И те, кто отдал свою молодость войне, все равно и писать и чувствовать будут «войною».

И опять мы поднимаем чарки
За невозвратившихся назад...
Пусть могила Неизвестной санитарки
Есть пока лишь в памяти солдат.

Тех солдат, которых выносили
(Помнишь взрывы, деревень костры?)
С поля боя девушки России, —
Где ж могила Неизвестной медсестры?.. —

скажет бывшая фронтовичка поэтесса Юлия Друнина.

Истинная поэзия всегда возводит идеал народа в нравственный закон эпохи и борется за него, освещая на многие годы вперед пути духовного прогресса. В финале повести Виктора Астафьева «Звездопад» звучат очень поэтичные слова, поэтому я считаю их вполне уместными в разговоре о поэзии. «Я люблю родную страну свою, — пишет автор — бывший фронтовик. —

Но очень она большая. Утеряешь человека и не вдруг встретишь. В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один, в лесу, смотрю, как звезды вспыхивают, кроют, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли еще задолго до того, как мы родились, но свет их еще идет к нам, все еще сияет нам».

Этот поэтический образ ночи родился, когда писатель работал над повестью о войне, но в нем заключен тот этический закон, который созрел в душе автора, вероятно, довольно долго, а зародился он в грозные годы войны... Столько на жизненном пути было встречено прекрасных людей, и хотя многих, слишком многих из них нет уже в живых, но излученные ими свет и тепло ощущаются до сих пор, как свет тех звезд, что давно погасли...

Так до сих пор доходит до нас свет тех, кто отдал свою жизнь за Родину, и само понятие «Родина» приобретает в силу этого особый конкретный и емкий смысл.

В дни войны, когда над страной нависла смертельная угроза, для всех стало ясно, что понятие «Родина» включает в себя и понятие «родная природа», вот почему в стихах военных и послевоенных лет такое большое место заняла родная природа, родная земля. У Ярослава Смелякова есть стихотворение «Судья». В нем говорится о том, как пал в сражении под Москвой совсем молодой боец. «И, уходя в страну иную от мест родных невдалеке, он землю теплую, сырую зажал в коснеющей руке. Горсть отвоеванной России он захотел на память взять, и не сумели мы, живые, те пальцы мертвые разжать». Дальше поэт говорит о страшном суде, который ожидает каждого, но судьей на этом суде будет не бог, а тот погибший под Москвой красноармеец, который «все узнает оком зорким, с пятном кровавым на груди, судья в истлевшей гимнастерке, сидящий молча впереди». И единственной заповедью того строгого судьи будет любовь к родной земле:

И будет самой высшей мерой,
какою мерить нас могли,
в ладони юношеской серой
та горсть тяжелая земли.

Горсть земли... Земля как символ Родины станет устойчивым поэтическим образом, к которому все чаще

и чаще станут обращаться советские поэты разных поколений, разных национальностей.

«Люблю, Россия, твой пейзаж: твои курганы печенежи, стамухи белых побережий, оранжевый на синем пляж, кровавый мех лесной зари, олений бой, тюленьи игры, и в кедраче над Уссури шаманскую личину тигра», — скажет в стихотворении «России» поэт Илья Сельвинский. И вывод: «Убить Россию — это значит отнять надежду у Земли».

Порабощенные Гитлером народы с надеждой смотрели на Восток — там шла гигантская битва с фашизмом, там решалась и их судьба. И слово «Россия» стало символом веры и надежды, символом освобождения, символом свободы. Вот почему во фронтовой поэзии и в поэзии послевоенных лет так часто обращались к образу Родины.

«И прошу я, как в дни былые, в нескудеющем свете дня: — Солнце жизни моей, Россия, укрепи на подвиг меня!» — очень лично скажет Николай Рыленков и потом до последних своих дней поэт будет воспевать родную землю, давшую его народу и ему лично силу в лихолетье военной поры.

«Суд памяти»

Поэзия военных лет — это летопись духовной жизни нашего народа, и в ней отразились и горечь поражений, и боль утрат, и радость побед, и грусть разлук, и счастье встреч, в ней запечатлелись все движения души народа — народа-освободителя. В стихотворении Твардовского «Я убит подо Ржевом», в своеобразном монологе-обращении павшего, есть и такие слова: «Горевать — горделиво, не клонясь головой, ликовать — не хвастливо в час победы самой».

Отгремит салют Победы, и над миром установится неправдоподобная тишина. Но не остановится течение самой жизни, жизнь пойдет своим ходом, пойдет в разные стороны... И незаметно над миром вновь станет кружить призрак войны.

И тут необходимо сказать несколько слов о поэме Егора Исаева «Суд памяти». Поэма была написана в ту пору, когда так называемая «холодная» война вот-

вот готова была перерасти в войну, не нуждающуюся в амортизирующих ее эпитетах.

В поэме мы всегда ищем прежде всего характеры. И многим, писавшим о поэме Егора Исаева, такими характерами представлялись бывшие солдаты гитлеровской армии: Герман Хорст, Ганс, Курт. Мне думается, я ничуть не преуменьшу значение поэмы, если скажу, что Герман Хорст, Ганс и Курт — только достоверные образы послевоенных немцев, но не те характеры-открытия, которые раскрывают философское содержание произведения. Однако в поэме характер-открытие есть — это лирический герой поэмы, от лица которого ведется рассказ. Это наш умудренный тяжелым историческим опытом современник, прошедший сквозь грозные годы войны и достаточно суровые испытания мирного времени.

Образ становится характером-открытием лишь в том случае, когда он не только живет естественной жизнью в сюжетной среде, но и когда он в состоянии раскрыть те или другие исторические события. И лирический герой поэмы «Суд памяти», будучи только рядовым историей, объясняет нам ее не менее, чем многие сочинения на исторические темы.

Вы думаете, павшие молчат!
Конечно да — вы скажете.
Неверно!
Они кричат,
Пока еще стучат
Сердца живых
И осязают нервы.
Они кричат не где-нибудь,
А в нас.
За нас кричат.
Особенно ночами,
Когда стоит бессонница у глаз
И прошлое толпится за плечами.

Этот страстный монолог органически вытекает из характера и судьбы лирического героя поэмы. Однако все пережитое им лично и его народом не заслоняет от него исторических перспектив.

Герман Хорст натворил на земле немало бед, вина его доказана и не забыта. Перед нами, как явь, проходят его черные деяния, потому-то и поэма называется «Суд памяти». Прошли годы, но Хорст не сделал для себя никаких выводов из прошлого. И вот финал поэ-

мы: «Я Курту руку подаю. Я Гансу руку подаю. Тебе же, Хорст, помедлю...»

Видите, лирический герой не теряет надежды, что в конце концов придет время, когда и Хорсту можно будет подать руку. Наверное, не всякий в роли победителя стал бы терпеливо дожидаться, когда побежденный избавится от столь опасного исторического эгоизма.

Да, можно согласиться с мыслью, что русский человек нелегко втягивается в суровые исторические события, к каковым относится война. Но проходит время, и он не то чтобы привыкает к войне, он привыкает к мысли, что война стала фактом его жизни, фактом жизни его народа. Когда же война становится бытом, воюет он сноровисто, рассудительно, без истерики и лишнего возбуждения. Победу встречает достойно, но без высокомерия и, скорее, склонен ее преуменьшать, нежели преувеличивать. После войны наблюдается предрасположение к излишнему великодушию, порой даже к всепрощению, хотя на сей раз победа не придала ему беззаботности, больше того, он добровольно взвалил на свои плечи тяжелый груз ответственности перед историей. Таков лирический герой поэмы «Суд памяти». Однако при всем его страстном желании мира на Земле его не назовешь миротворцем. На компромиссы он не идет, потому как хорошо знает, чем в истории кончаются компромиссы. Он тверд и терпелив одновременно — за ним стоит его великая Родина.

Минувшая война самым непосредственным образом повлияла на судьбу нескольких поколений и тем самым во многом предопределила последующую жизнь этих поколений, повлияла на всю нашу духовную жизнь, обозначила главное направление нравственного поиска народа, а все это в совокупности и обусловило пути развития литературного процесса.

В. Белинский, имея в виду войну 1812 года, когда-то писал: «Общепародная война, которая пробудила, вызвала наружу и напрягла все внутренние силы народа, которая составила собою эпоху в его... истории и имела влияние на всю его последующую жизнь, — такая война представляет собою по превосходству эпическое событие и дает богатый материал для эпопеев».

Действительно, в Отечественной войне 1812 года и в последовавшие за ней годы небывалый подъем на-

ционального самосознания, закономерно вызванный всем ходом борьбы за национальную независимость и исторической ответственностью за судьбу других народов, сообщил русскому народу ту духовную мощь и бодрость, которые на многие десятилетия вперед определили развитие всей нашей культуры.

Великая Отечественная война была еще более грандиозным историческим событием, а потому и по прошествии многих лет нельзя было уклониться от нравственных и гражданских проблем, поставленных войной. Миллионы советских людей — вчерашних участников величайшей в истории битвы — принесли их в мирную жизнь. Пусть потом эти проблемы решались по-иному, и последующая жизнь присовокупила к ним новые, но все равно поиск шел в направлении нравственных и гражданских задач, поставленных войной. И лирический герой поэмы «Суд памяти», представляя историческую Память в образе женщины, скажет: «Она идет, переступая рвы, не требуя ни визы, ни прописки. В глазах — то одиночество вдовы, то глубина печали материнской. Ее шаги неслышны и легки, как ветерки на травах полусонных. На голове меняются платки — знамена стран, войною потрясенных. То флаг французский, то британский флаг, то польский флаг, то чешский, то норвежский...» И с законной гордостью заключит:

Но дольше всех
Не гаснет на плечах
Багряный флаг
Страны моей Советской.
Он флаг победы.
Заревом своим
Он озарил и скорбь
И радость встречи.
И может быть, сейчас покрыла им
Моя землячка худенькие плечи.

Великая Отечественная война во многом обусловила дальнейшее развитие всей духовной жизни нашего народа. И если мы обратимся к творчеству поэтов даже тех поколений, которых война тоже не обошла стороной, но которые в силу своего возраста не были участниками великой битвы, но были ее равнодушными свидетелями, то и в их творчестве мы обнаружим живой голос минувшей войны. И порой он звучит не менее пронзительно, нежели у поэтов-фронтовиков.

«И вехи нашего пути...»

Мне думается, вполне закономерно, что в последние годы трудно было встретить проблемную или обзорную статью о поэзии, в которой не упоминалось бы имя поэта Анатолия Жигулина. Его стихи давно привлекли внимание читателя и критики, но, пожалуй, именно в последние годы интерес к творчеству Анатолия Жигулина стал устойчивым и, кажется, обещает быть продолжительным. И это ощущение порождается прежде всего зрелостью гражданского и поэтического чувства, которое невольно запечатлевается в каждом стихотворении поэта.

Анатолий Жигулин не воевал. Когда началась война, он был еще мальчишкой, однако цепкая детская память навсегда запечатлела многие картины военной и даже предвоенной поры. У Жигулина много стихов написано о детстве, но в жигулинском творчестве живет историческое время, которое вовсе не «утывается» в воспоминания собственного детства.

Значок ГТО на цепочках
На форменной куртке отца.
И тополь в серебряных почках,
И желтый песок у крыльца...
В эпоху сомнений и бедствий
До самого смертного дня
Нетленная память о детстве
Уже не оставит меня.

Так в этом стихотворении, как и во многих других, «вспоминается» не только собственное детство, но и молодость родителей, молодость того поколения, на долю которого выпали основные тяготы войны. Впрочем, даже в стихотворении о собственном детстве всегда тревожно звучит предощущение грозных лет, и никогда личная судьба поэта во всей ее протяженности не поднимается над судьбой Родины, а лишь вплетается в нее составной частью, обязательной своей неповторимостью. Вот первые две строфы стихотворения «Винтовка СВТ»:

Когда-то ею на парадах,
Пока не грянула война,
Новейшей, десятизарядной,
Так любовалась вся страна!
О, ряд штыков, блестящих, плоских!
Он с детства памятен и мне.

И звонкий шаг у стен кремлевских,
И первый маршал на коне...

А заканчивается стихотворение такими строками:

Но почему-то так непросто,
Так странно стало на душе,
Когда тяжелый длинный остов
Нашел я в старом блиндаже.

Я этот ствол, стальной и ржавый,
Не мог спокойно обойти:
В нем наша боль,
И наша слава,
И веха нашего пути.

Как видим, даже ранние детские воспоминания не носят у Жигулина замкнутого характера. Он говорит не «мне» памятен, а «и мне» памятен. В предпоследней строфе поэт выражает свое состояние, личное («Так странно стало на душе»), но дальше следует строфа, в которой судьба Родины, судьба народа как бы перекрывает его личную судьбу («Я этот ствол, стальной и ржавый, не мог спокойно обойти: в нем наша боль, и наша слава, и веха нашего пути». — Разрядка моя. — А. Л.)

Поэт в молодые годы разделил тяжелую участь многих людей более старших поколений. Естественно, этот период нашел отражение в творчестве поэта, однако эта тема представлена в стихах Жигулина удивительно тактично и ненавязчиво: «Мои обиды и прощенья сгорят, как старое жнивье. В тебе одной — и утешенье и исцеление мое». Это стихи о Родине. Очень интимные стихи. И вот из этого этического правила, в котором предельно отчетливо выражена самостоятельная гражданская поэзия поэта, и выросла неповторимая жигулинская интонация.

Утиные Дворики — это деревня.
Одиннадцать мокрых соломенных крыш.
Утиные Дворики — это деревья,
Полынная горечь и желтый камыш.

Холодный сентябрь сорок пятого года.
Победа гремит на великой Руси.
Намокла ботва на пустых огородах.
Увяз «студебеккер» в тяжелой грязи.

Малыш хворостиной играет у хаты.
Утиные Дворики...
Вдовья беда...
Все мимо
И мимо проходят солдаты.
Сюда не вернется никто никогда...

Нет, интонация определяется не темой, не является она и счастливой находкой, — она выкристаллизовывается из общего духовного самочувствия поэта. Стихотворение «Утиные Дворики» было написано в 1966 году, когда Жигулину исполнилось тридцать шесть лет, то есть спустя двадцать один год после описываемых в стихотворении событий. Тут, если говорить о внешней стороне дела, вроде бы и событий-то нет. Так, отдельные штрихи. Зарисовка... Но эти отдельные штрихи, объединенные исполнением внутреннего драматизма интонаций, способны вызвать в воображении читателя отчетливую картину разоренной войной деревни, а что самое главное, они способны, казалось бы, давно забытую боль ощутить как сегодняшнюю. Ведь это не просто порушенная войной деревня, это порушенное детство.

«Малыш хвостиком играет у хаты...»

Это для того малыша и есть Родина, и лишь потом он узнает, какая она большая, могущественная и какая у нее великая даль. А пока: «Утиные Дворики... Там за курганом, еще и Гусиные, кажется, есть...» А то, что за курганом, пока еще только «кажется». Но теперешняя судьба малыша predetermined: «Все мимо и мимо проходят солдаты. Сюда не вернется никто никогда...» И еще эта точность... Поэт дважды повторяет строку: «Одиннадцать мокрых соломенных крыш». И невольно передается чувство сиротства. Правда, осознается оно потом, спустя годы, а тогда оно присутствовало как постоянное самочувствие, растворявшееся лишь в моменты единения с родной природой.

Особенно пронзительно это звучит в горестном стихотворении Николая Рубцова «Детство»: «Мать умерла. Отец ушел на фронт. Соседка злая не дает проходу. Я смутно помню утро похорон и за окошком скудную природу». Это было в 1942 году, когда будущему поэту исполнилось шесть лет. И память удержала образ природы: «Я смутно помню позднюю реку, огни на ней, и скрип, и плеск парома, и крик: «Скорей!» Потом раскаты грома и дождь... Потом... детдом на берегу...»

Заброшенность. Война.
Пайки. Талоны.
В трех метрах от окна
Шаги. Вагоны...
Два мальчика в тылу,

В безлюдной жути.
Два пятнышка в дыму,
В белесой мути.

Это Владимир Соколов. И опять чувство сиротства, затерянности...

Мы уже говорили, что влияние Великой Отечественной войны на судьбу того или иного поколения как раз и есть тот признак, что позволяет нам иметь вполне обоснованную периодизацию литературных поколений. Одно дело те, кто встретил войну пусть и молодыми людьми, но уже имеющими какой-то самостоятельный жизненный опыт, другое дело те, для кого война стала первым самостоятельным жизненным испытанием, и совсем иное дело те, кто в силу своего возраста не стал ее активным участником. Пройдет всего четыре года с момента окончания войны, и Владимир Соколов напишет: «Уже война почти что в старину. В ряды легенд вошли сражений были. По книжкам учат школьники войну, а мы ее по сводкам проходили». Действительно, война в сознании мальчишек и девчонок военной поры была продолжительным и всеохватывающим впечатлением. «А мы ее учили по складам от первых залпов городских зениток до славы тех салютов знаменитых, которых силы я не передам». Но это не простая констатация факта, не простое обращение к собственной биографии или биографии своего поколения. Дальше Владимир Соколов указывает и на причину, побудившую его вернуться памятью в собственное детство:

...Я речь о том повел не оттого,
Что захотелось просто вспомнить детство,
А потому, что лишь через него
Я в силах в быль великую взглядеться...

Вот этот взгляд в великую быль через собственное детство, которое пришлось на войну, взгляд на современность через великий подвиг своего народа и составляет этическую основу поэзии тех, кто войну «по сводкам проходил».

Нравственный поиск начинается, употребляя определение Достоевского, с «самоказни», то есть с признания своей вины, неважно, истинной или мнимой. Миллионы советских воинов сложили головы в боях за честь и независимость нашей Родины. И ни в чем не виноваты те, кого война все же пощадила. Помните стихи Юлии Друниной? «Если мы уцелели — не наша

вина: у тебя не просили пощады, Война!» А вот Александр Твардовский, спустя двадцать один год после окончания войны, сказал по-другому:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Вот это «все же» выявляет не вину, а то чувство вины, которое может посетить независимо от того, имеются ли действительные основания для самоупрека. И тут важна не столько истина, сколько высота нравственных требований к себе. Упрекать оставшихся в живых... На это ни у кого нет морального права. Но на самоупрек каждый имеет такое право. Те, кто воевал, но остались в живых, отдали Родине многое, а те, кто погиб, отдали Родине главное — жизнь. А вот те, кто не воевал? Был очевидцем, свидетелем, жертвой войны, но не участником ее...

И тут мне хочется сказать более подробно о творчестве Николая Рубцова, стихи которого с каждым годом завоевывают все новых и новых читателей.

**«И счастлив я,
пока на свете белом горит,
горит звезда моих полей»**

В наш нервный век, век исторических потрясений и фантастических научных открытий, когда необычное то и дело становится обычным, а воистину обычное делается необычным, когда мы все больше и больше стоим бесхитростных слов и простых понятий, когда мы теряем вкус к вечным вопросам бытия и порой приходим в восторг от всепоглощающего разнообразия быта, настоящий поэт возвращает нас к первозданным связям человека, нарушение или забвение которых может привести человечество к последствиям столь неожиданным, столь и нежелательным. И не потому ли мы так единодушно откликнулись на простые слова вологодского поэта Николая Рубцова, сложившиеся в высокий гимн родной земле?

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуту потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

У Николая Рубцова трудно найти стихотворение, в котором бы отсутствовал образ родной природы, и в то же время пейзаж как таковой почти отсутствует в его стихах. Нескольким лет назад другой поэт — Анатолий Передереев — не без уместной горечи писал: «Я видел, как скудеют чувства, мертвеют краски и слова, когда отдельно от искусства горит закат, шумит листва. Когда — была такая мода — живут, друг другу не служа, поэт отдельно и природа, отдельно книга и душа...»

И не потому ли, что у нас слишком часто поэты «живут отдельно» от природы, а книги от души, нас неодолимо тянет ко многим творениям прошлого, в которых мы находим так нужное нам единство художника с природой, книги с душой? И не потому ли нас так радуют стихи наших современников, когда мы обнаруживаем в их произведениях тягу к этому единству?

Во всяком случае нынче мы с успокоением можем сказать, что природа возвращается в нашу духовную жизнь. И вековечный признак Родины — ее природа — занимает в творчестве современных поэтов заметное место. Хотя здесь не все так просто, и порой под видом органического воссоединения можно узреть лишь механическое присоединение, когда и поэт и природа по-прежнему «живут отдельно», лишь сократив между собою расстояние. Отсюда появилась та торопливость, с которой иные поэты начинают «венчаться» (явно не по любви, а только в силу какого-то возбуждения) с кудрявыми березками; та исступленная пляска по необъятным русским просторам, слишком громкое ауканье

в молчаливых русских лесах и бесцельное плутание по бесконечным русским дорогам и тропам, поддельный культ природы с языческим восторгом перед вещными ее атрибутами; и тут даже поэтическое слово «березка» порой звучит как своего рода пароль...

Самоценность же природы в ее нерасторжимости и цельности, в ее вечной сопричастности к духовному бытию человека, в любом ином случае (и в этом, разумеется, нет ничего дурного, если это не касается поэзии) она лишь кладовая материальных ценностей, источник и причина нашего физического бытия. Кстати сказать, если мы считаем природу источником и причиной нашей физической жизни, то есть ли у нас основания искать источники и причину нашей духовной жизни непременно за пределами той же самой природы?

Новое — это еще не значит истинное. Но настоящий поэт — всегда новатор. Настоящий поэт рождается, чтобы сказать недостающее Слово, выразить им целый мир мыслей, своим поэтическим предчувствием «приблизить» будущее, озарить его светом сегодняшней день. Большой поэт всегда «заглядывает» в будущее, неведомое нам и сокрытое от нас. Живя среди нас, он уже носит в себе нравственную меру вещей будущего. И прав Анатолий Передреев, поставивший природу и книгу в один ряд; книга, если она истинная, она тоже вечна: мы не сопричастны к внешней жизни Пушкина, но мы не менее, чем его современники, а может быть, и более сопричастны к его поэзии, к его духовной жизни.

Николай Рубцов вошел в поэзию незаметно, и вскоре появилось такое чувство, будто в поэзии и в жизни он был всегда. Я легко, например, воскрешаю во многих подробностях события пятнадцатилетней давности, но никак не могу представить себе собственное состояние, когда во мне не звучало: «Школа моя деревянная!.. Время придет уезжать — речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь». И мне сейчас представляется, что и судьбу-то своей Родины я понимал неполно, скажем, без этих вот слов:

...Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.

Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов

в окрестностях
России.

Я уже говорил, что в стихах Николая Рубцова нет такого пейзажа, когда тот служит лишь приметой времени или места, усиливая определенное настроение, соответствуя ему или контрастируя с ним. У Николая Рубцова наблюдается как раз то единство с природой, когда природа дает самочувствие вечности жизни, определяя нравственную меру вещей и явлений.

Иногда в доброй наивности художники разных жанров пытались «осовременить» природу: если лес, то на фоне его неперемнная электропила или что-нибудь в том же роде, если степи и поля, то на их фоне — «стальные трактора». И хотя одно вовсе не противостоит другому, соседство их скорее подчеркивает преходящность одного из них. Представьте себе, вы смотрите на картину 30-х годов, на ней изображены поле и работающий на нем трактор — художник решил «осовременить» пейзаж. И вот что любопытно: образ родной природы не устарел и по сей день, а трактор явно устарел, и на это вы сразу же обратите внимание.

Конечно, и трактор может стать предметом художественного изображения, когда в нем заключена какая-то самостоятельная идея — например, первый трактор на деревне. А вот осовременить природу ничто рукотворное не в состоянии, чаще даже наоборот, ибо природа всегда современна.

Допустим, нас может по-настоящему взволновать тот или другой памятник Пушкину, однако гораздо больше непосторонних чувств способны вызвать «пушкинские» места. (Под «пушкинскими» местами мы подразумеваем здесь не только те места, что посетил наш великий поэт, но и те, что он воспел в своем творчестве.) Где-нибудь на нетронутом берегу моря в нас невольно звучат строки: «Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной...» И будто не отделяют нас от Пушкина многие десятилетия...

Разумеется, когда я говорил о памятниках и непосторонних чувствах, то я тем самым вовсе не собирался свести на нет духовное значение рукотворных произве-

дений искусства. Но памятник — это лишь символ, и в нем всегда присутствует посторонняя «трактовка» творца этого овеществленного символа. Мешает или помогает она нам — это вопрос другой, но она всегда присутствует как постороннее чувство. Природа же не выступает в качестве «посредника», будучи вечной, она сводит как бы на нет категорию времени, устанавливая непосредственную духовную связь между прошлым и настоящим, осуществляя единство духовной жизни, без которого невозможен никакой духовный прогресс.

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

И в этих стихах Николай Рубцов вовсе не замыкает себя на Вселенную, и он далек от того пантеизма, когда природа выступает как высшее самоценное начало, вечностью своею подчеркивающая только недолговечность человеческого бытия. Главное для Рубцова всегда — человек, и в своем «блуждании» над планетой он ищет связи с человеком.

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревьев.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

Почему «бывший десантник», а не «танкист» или «пулеметчик»? У Рубцова нет в стихах случайных или приблизительных слов, каждому слову он находит то место, или на каждое место он находит то слово, которое становится незыблемым в силу своей здесь обязательности.

Если мы «раскрутим» стихотворение от конца, от «десантника», то мы увидим, что стихотворение лишено какой бы то ни было мистики, хотя оно и порождает определенный мистический настрой: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» Возьмите все строфы, кроме первой и последних двух, в них нет абсолютно ничего мистического — это реальная духовная биография человека, родившегося и выросшего в деревне. Появление этой биографии было обусловлено в первой же

строфе: «Я буду скакать по следам миновавших времен», — «Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность...» — это миновавшее время. Теперь возьмем предпоследнюю строфу: «Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье и тайные сны неподвижных больших деревень. Никто меж полей не услышит глухое скаканье, никто не окликнет мелькнувшую легкую тень». Если мы удалим отсюда единственное слово «скакать» и производное от него «скаканье», то по всем ощущениям — перед нами реальный десантник: к танкисту или пулеметчику нужно подбирать совершенно иной образный ряд. Ощущение «над планетой» — это ощущение десантника, и тайный род его «работы» естественно вызывает таинственные образы «ненарушимого ночного дыханья», «снов неподвижных больших деревень», «мелькнувшей легкой тени», которую «никто не окликнет».

Естественное для десантника желание мелькнуть легкой тенью, быть неокликнутым порождает в нем устойчивое ощущение, близкое тому, что теперь нам передает лирический герой стихотворения. И эта духовная связь между лирическим героем и бывшим десантником устанавливается через преодоление времени, через обращение к вечным для человека категориям родной природы и Родины: «Отчизна и воля — останься, мое божество...»

Рубцов связь времен видит не в переключке эпох, а в постоянном процессе развития, в переходе одного качества в другое, в тесной взаимосвязи всего, что имело и имеет место быть на земле; и даже там, где все мертво и неподвижно, он подозревает скрытое и необходимое движение: «Но и в мертвых песках без движения, как под гнетом неведомых дум, зреет жгучая жажда сражения, в каждом шорохе зреет самум!..» Рубцов не только чувствует вечность, ему хорошо видны и пределы человеческой жизни, пределы собственной жизни. И не грустить тут нельзя, не грустить тут — значит кощунствовать в главном.

...И обступают бурную реку
Все те ж цветы... но девушки другие.
И говорить не надо им, какие
Мы знали дни на этом берегу.
Бегут себе, играя и дразня,
Я им кричу: — Куда же вы? Куда вы?
Взгляните ж вы, какие здесь купавы! —
Но разве кто послушает меня...

И не потому ли мы в зрелом возрасте невольно тянемся к природе, потому что в ней все, как в детстве, как в юности, то есть как прежде... Вот эта вечность родной природы позволяет нам одновременно жить и в настоящем, и в нашем прошлом, которое она нам возвращает, давая ощущение вечности жизни.

Около двадцати лет назад молодой воронежский поэт Анатолий Жигулин, побывав в Крыму, написал стихотворение «Памятник», посвященное защитникам Крыма. Стихотворение это заканчивалось такими неожиданными строчками: «Хранят безмолвие громады слова преданий и легенд. И я подумал: нет! Не надо! Не надо ставить монумент! Пусть только лавр при легком ветре звенит листвою своею литой. Пусть будет весь хребет Ай-Петри героям мраморной плитой».

И здесь поэт выступает не против рукотворных памятников, просто он считает любой рукотворный памятник недостаточным, несоответственным подвигу героев Великой Отечественной войны. Пройдут годы, и категоричность чувства и мысли уступит место подлинной поэтической глубине, гармонии чувства и мысли. Стихотворение «Памятник» было напечатано в первой книге поэта (1959 г.), а спустя десять лет, поэт напишет:

Ржавые елки
На старом кургане стоят.
Это винтовки
Когда-то погибших солдат.

Ласточки кружат
И тают за далью лесной.
Это их души
Тревожно летят надо мной.

**«И если в мире что-тоечно,
так это Родина моя...»**

Литература как одна из форм общественного сознания отражает смену и взаимосвязь поколений, общий процесс духовного развития народа и духовную жизнь отдельной личности. Всякое новое поколение формирует свое общественное сознание и свои общественные взгляды под влиянием каких-то значительных исторических событий и уже утвердившихся идей. Однако любое поколение, как бы полно оно ни унаследовало от своих

отцов их убеждения и взгляды, вырабатывает свое отношение к действительности, иначе было бы невозможно никакое развитие общественного сознания.

Когда мы говорим о развитии традиций, то, безусловно, подразумеваем и все формообразующие элементы отечественного стиха, но все же главное здесь — преемственность духовная, потому как истинное поэтическое слово передает не только личное чувство поэта, но и чувства его современников, вернее, истинным поэтическое слово становится именно тогда, когда оно выражает дух своего времени. И вся многовековая история отечественной поэзии при всем разнообразии выраженных ею чувств свидетельствует о том, что любовь к Родине всегда была самым заветным чувством народа. И эту традицию отечественной литературы на протяжении шести десятилетий развивает наша советская поэзия, начиная от Блока, Брюсова, Есенина, Маяковского, Бедного, Пастернака, Асеева, Прокофьева, Исаковского, Ахматовой...

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем.
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

И эту поэтическую клятву Анны Ахматовой, данную ею в февральские дни сорок второго года, мог бы повторить каждый советский поэт, независимо от того, к какому поколению он принадлежит и какой жизненный опыт лежит за его плечами, за плечами его народа.

Русской поэзии всегда было чуждо чувство национальной вражды или национальной неприязни, напротив, уважение и любовь к другим народам всегда питали ее живительными соками. И недаром для многих русских поэтов, и в первую очередь для Пушкина и Лермонтова, Кавказ стал как бы второй поэтической Родиной. Пушкин считал, что истинный русский поэт в равной мере принадлежит всем народам России. Отсюда его знаменитое: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык,

и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык...»

В период Великой Отечественной войны бок о бок дрались люди разных национальностей, отстаивая честь и независимость своей единой Родины, и в этих битвах крепло и развивалось их интернациональное чувство. Окончится война, пройдут годы, и бывший фронтовик поэт Михаил Львов скажет:

Сколько нас, нерусских, у России —
И татарских и иных кровей,
Имена носящих не простые,
Но простых российских сыновей!

Пусть нас и не жалуют иные,
Но вовек — ни завтра, ни сейчас —
Отделить нельзя нас от России —
Родина немыслима без нас!..

Чувство советского патриотизма неотделимо от чувства интернационализма, от чувства братства народов, проверенного в горниле суровых испытаний. Вера в силу и могущество своей Родины дает советским поэтам уверенность в будущем и не только своего народа, но и народов всего мира.

Мир не будет
Покорным и серым.
Через смерти,
Сквозь годы — вперед!
И земля человеческим сердцем
По бессонной орбите
Идет! —

воскликнет поэт Владимир Костров и тем выразит общее чувство советского гражданина, как выразит его и поэт Евгений Евтушенко, сказавший: «И если в мире что-то вечно, так это Родина моя».

Когда молодая Советская страна праздновала свое десятилетие, Владимир Маяковский с гордостью писал: «И я, как весну человечества, рожденную в трудах и бою, пою мое отечество, республику мою!» С тех пор прошло полвека, но эти слова по-прежнему звучат современно: чувство любви к своей Родине, чувство гордости за свой народ, за его подвиги «в трудах и бою» питают советскую многонациональную поэзию как живительные источники.

В годы войны татарский поэт Муса Джалиль скажет: «Умереть — так только за Отчизну. Жить — так только Родиной дыша». И исполнил этот завет. А в ка-

нун шестидесятилетия Октября Егор Исаев в своей новой поэме «Даль памяти» напишет: «...За землю шли, за волю, за нашу власть у верного руля, за наш Совет и в городе и в поле, за наш Союз... И вот она — земля — в закон легла: живи, народ, и здравствуй в своем доме. Паши, народ, и сей. И единись в своем же государстве. «Владеть землей!» — ведь это значит: всей, всей, всей владеть! И помнить всю на память, — шахтер ли ты, иль пахарь на селе — и славить всю, и ладить с ней, она ведь, земля, везде: и сверху, на земле, и под землей и над землей — она же, как день и ночь, как берег и волна, как хлеб и соль...

Не чья-нибудь, а наша
Земля-сторонка
И земля-страна
Просторная
И в сторону Сибири
И в сторону кронштадтских маяков
Родная вся!»

И в этих стихах советских поэтов разных поколений мы готовы скорее усмотреть не поэтические преувеличения, а точно выраженное гражданское самочувствие своих современников.

Содержание

- 4 «А слава тех не умирает, кто за отечество
умрет...»
- 12 «Буря! Скоро грянет буря!..»
- 15 «...Я — гражданин Советского Союза!..»
- 18 «Вставай, страна огромная, вставай на смерт-
ный бой...»
- 22 «Нынче мы в ответе за Россию, за народ и
за все на свете...»
- 31 «Мы сами рассказать должны по праву о на-
шем поколении солдат...»
- 40 «Ты получишь, сестра, награду — человека
опять спасешь»
- 46 «Суд памяти»
- 50 «И вехи нашего пути...»
- 54 «И счастлив я, пока на свете белом горит,
горит звезда моих полей»
- 60 «И если в мире что-то вечно, так это Родина
моя...»

Анатолий Петрович ЛАНЩИКОВ

Славься, Отечество

(Родина в творчестве русских советских поэтов)

Зав. редакцией *М. Б. Новиков*
Редактор *Н. М. Краснопольская*
Мл. редактор *Л. Ю. Михайлова*
Худож. редактор *М. А. Гусева*
Техн. редактор *Л. А. Кирякова*
Корректор *Н. Д. Мелешкина*

ИБ № 1348

А04008. Индекс заказа 87002. Сдано в набор 22/XI-77 г. Под-
писано к печати 11/I-78 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага
типографская № 3. Бум. л. 1,0. Печ. л. 2,0. Усл. печ. л. 3,36.
Уч.-изд. л. 3,26. Тираж 132 260 экз. Издательство «Знание».
101835, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Заказ 395.
Цена 11 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени тип. им. Володарского
Лениздата. 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

11 коп.

Индекс 70069

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРА

2/1978